



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

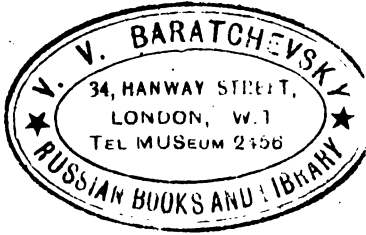
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

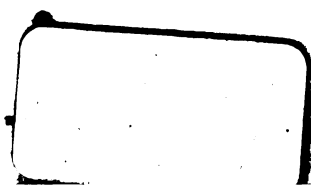
Slav 4335.7.80



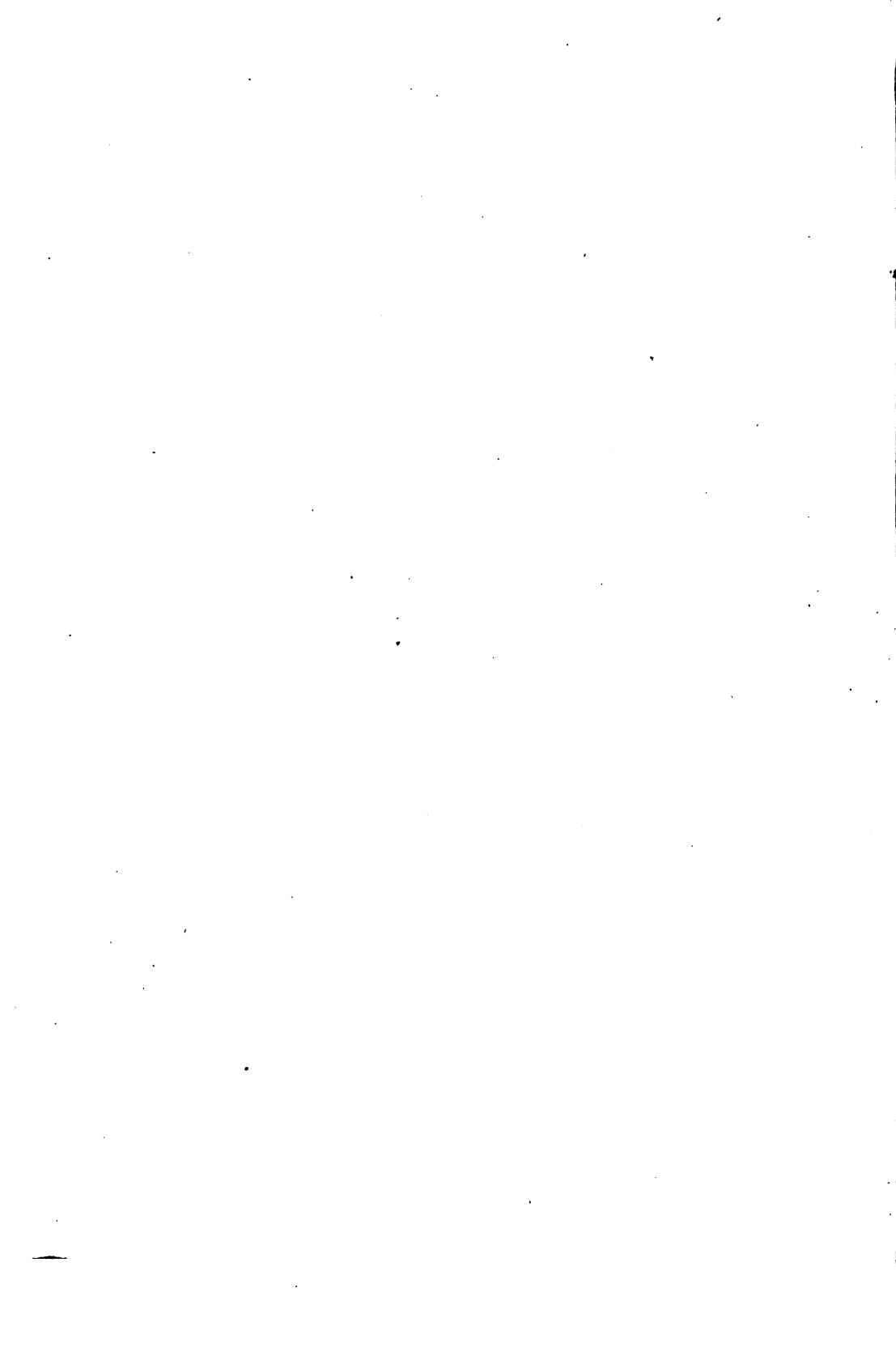
HARVARD COLLEGE
LIBRARY



BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND







Александръ Амфитеатровъ.

ПСИХОПАТЫ.

ПРАВДА и ВЫМЫСЕЛЪ.

*Иуда. — Казнь. — Отец. — Обожаніе. — Посль
душли. — Братъ и сестра. — Разрывъ. —
Сказка темной ночи. — Сонъ на яву. — Мо-
лодо-зелено. — Въ житейскомъ муравейникъ.*



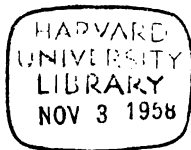
5659-30.12.46.

МОСКВА.

„РУССКАЯ“ ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ, ТВЕРСКАЯ, Д. ГИНЦБУРГА.

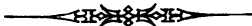
1893.

Slav 4335.7. 80
✓



Отъ автора.

Собранные въ этой книжкѣ рассказы печатались предварительно въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, „Новостяхъ Дня“, „Новомъ Обозрѣніи“ и въ другихъ ежедневныхъ изданіяхъ.



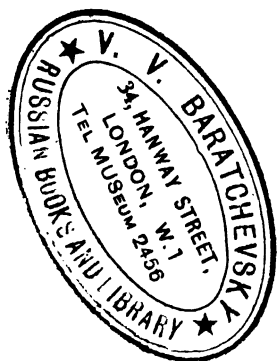
ОГЛАВЛЕНІЕ.



	<i>Стр.</i>
I. Іуда	1
II. Казнь	11
III. Онъ	26—
IV. Обожаніе	38 —
V. Послѣ дуэли.	54 —
VI. Братъ и сестра	72
VII. Разрывъ.	89
VIII. Сказка темной ночи	106
IX. Сонъ на яву.	117
X. Молодо-зелено.	
I. Исторія одного злосчастнаго дня	129
II. На водѣ.	147
XI. Въ житейскомъ муравейникѣ.	
а) Двѣнадцатое января	159
б) Отравитель	164
в) Первая пощечина	168
г) Любитель.	173
д) Какъ умирають москвичи ?	178







І У Д А.

Солнце въ зенитѣ. Раскаленные его лучами пески пустыни стелются далеко на четыре стороны свѣта, разбѣгаясь отъ желтыхъ скатовъ невысокой гряды скалистыхъ и бесплодныхъ холмовъ, испещренныхъ темными отверстіями ущелій, узкихъ и глубокихъ, какъ колодцы. Тихо. Когда рухнетъ гдѣ-нибудь съ обрыва камень, обветшавшій въ долгой борьбѣ съ солнцемъ и вихрями этой безотрадной глуши, шумъ паденія разносится въ безвѣтряномъ пространствѣ на двѣ, на три мили кругомъ. Птицы молчаливо скрылись въ низкорослыхъ кактусахъ, краснокрылые кузнечики изнемогли отъ зноя и не въ силахъ приняться за свои трескучія пѣсни. Пестрыя змѣи свернулись клубками на горячей землѣ, черные ужи выползли изъ трещинъ скалъ на изсохшія русла дождевыхъ потоковъ и, вытянувъ свои узкія, длинныя тѣла, какъ палки, лежатъ глубоко зарывъ головы подъ камни. Пустыня спитъ — величественная, неподвижная и безмолвная, какъ сама смерть.

Но вотъ, въ ея нѣмомъ просторѣ показался человѣкъ. Весь въ поту, едва переводя духъ, спотыкаясь, онъ выбѣжалъ изъ ущелья на вершину одного изъ холмовъ и остановился. Погруженный въ глубокія думы, онъ потрясалъ головой, разводилъ руками и громко говорилъ самъ съ собою. Его глаза, — большіе и блестящіе, какъ

у испуганнаго орла,—не мигая, устремились въ ослѣпительную даль, гдѣ земля сливалась съ темносинимъ небомъ едва отдѣленная отъ него блестящей линіей солончаковъ и водъ Мертваго моря. Голубоватый воздухъ струился тамъ, какъ вода, и въ его прозрачной зыби рѣяли неясныя тѣни,—опрокинутыя отраженія города съ плоскими кровлями, бѣломраморнаго храма, замка съ грозными бойницами въ крѣпкихъ стѣнахъ. Человѣкъ на холмѣ взглянулъ въ рисунокъ миража, вздрогнулъ и закрылъ глаза. Онъ узналъ городъ, показанный ему маревомъ: то былъ Іерусалимъ. Оттуда бѣжалъ онъ сегодня съ утренней зарею въ эти забытыя Богомъ, не нужныя человѣку, дивія мѣста.

Бѣжалъ отъ кого? Онъ самъ не зналъ. Если и были у него враги въ святомъ городѣ, то слишкомъ малочисленные и ничтожныя, а защитниковъ отъ ихъ гнѣва, могучихъ, богатыхъ и властныхъ, человѣкъ на холмѣ нашелъ бы много. Онъ только-что оказалъ Іерусалиму важную услугу: спасъ страну отъ религіозной смуты, готовой потрясти изъ края въ край оба берега мутныхъ водъ священнаго Іордана. Онъ вырвалъ изъ среды учениковъ виновника смуты,—этого Іегошуа Ганоцри *), Кто вчера крестною казнью оплатилъ свои странныя новыя вѣрованія и смѣлость неслыханнымъ ученіемъ прощенія и любви отрицать вѣковую святыню суровыхъ завѣтовъ Моисея. Лишь съ его помощью охранители старой вѣры и римляне, блюстители страны, могли овладѣть этимъ неистижимымъ, вдохновеннымъ существомъ, четыре года волновавшимъ іудейскіе предѣлы, покорявшимъ себѣ колѣна народа израильскаго безъ меча и копья, —силою живого слова и примѣромъ чистой жизни, —творившимъ чудеса, удивлявшимъ пророчествами и неуло-

*) Іегошуа Ганоцри — Іисусъ Назарянинъ (талмудическое наименование).

вимымъ подѣ охраною народной любви. Воля человѣка на холмѣ остановила успѣхи Иегошуа Гавоцри и свѣтила на вѣки свѣтлое имя Учителя съ именемъ предавшаго его ученика, Іуды Искаріота. Въ Римѣ человѣкъ, отерывшій заговоръ, удостоивался мѣдной статуи и причислялся къ отцамъ отечества, — а Іуда сдѣлалъ больше... И все-таки онъ бѣжалъ! И если-бы въ дикомъ краю, куда завело его безостановочное бѣгство, были не одиѣ змѣи, птицы и стрекозы, онъ бѣжалъ бы еще дальше, потому что видъ человѣческаго лица былъ ему страшенъ и ненавистенъ, а сегодня утромъ, оставивъ Іерусалимъ, онъ читалъ такой же испугъ и ненависть въ глазахъ встрѣчныхъ прохожихъ. Онъ не зналъ ихъ. Они не принадлежали къ послѣдователямъ казненаго Пророка; Іуда зналъ въ лицо всѣхъ, признавшихъ Иегошуа сыномъ Бога и потомкомъ Давида, царемъ іудейскимъ. За что-же они ненавидятъ его и боятся? И только, когда утомленный ходьбою и зноемъ, онъ склонился надъ цистерною, гдѣ почерпнулъ воды въ дорожный мѣхъ, — онъ понялъ: со дна колодца глянуло на него, въ рамкѣ спутавшихся волосъ и бороды, страшное лицо земляного цвѣта, съ обострившимся носомъ и подбородкомъ, впалыми щеками; сверкнули недобрымъ огнемъ огромные воспаленные глаза. Онъ едва повѣрилъ, что видитъ себя въ этомъ, полномъ безумія, злобы и страха, призракѣ и съ трепетомъ спросилъ себя: „какъ же случилось, что я сталъ такъ ужасенъ?“ Іуда вспомнилъ, что вотъ уже два дня, какъ онъ не умывался, не причесывалъ волосъ, не мѣнялъ одежды, не исполнялъ ни одного обряда, предписаннаго закономъ и священнымъ обычаемъ страны... Да! именно два дня, съ той самой ночи, когда онъ тайкомъ прокрался въ масличный садъ и, заставъ Равви на молитвѣ, указалъ на него скрытымъ задеревьями воинамъ римскаго проконсула. Іуда отмѣтилъ

его подѣлуемъ... Учителя схватили. Борьбы же было. Игошуа былъ спокоенъ и кротокъ, оробѣлые ученики только плакали и ломали руки; одинъ лишь Киоа, смуглый, широкоплечій галилеянинъ, вспыльчивый, гордый и глубоко преданный Учителю, выхватилъ мечъ и бросился на ближняго къ себѣ стражника, но слово Игошуа стало преградой между ударомъ и жертвою, и Киоа, бросивъ мечъ, скрылся въ темнотѣ. Пророка увели. Факелы погасли въ отдаленіи; звяканье оружія и шумъ голосовъ замерли; садъ снова невозмутимо облегла темно-синяя южная ночь съ громадными яркими звѣздами, съ узкимъ серпомъ мѣсяца, едва сквозящимъ чрезъ маслячную листву, съ таинственнымъ шумомъ горныхъ потоковъ. Это—последнее, что осталось въ памяти Іуды... А потомъ? Потомъ начались мысли, — тѣ неутолимые мысли, что сдѣлали ему, спасителю отечества, невыносимыми родину и самую жизнь, выгнали его изъ святаго города прочь отъ людей, къ гадамъ и птицамъ пустыни...

И теперь, стоя на окраинѣ крутого холма, Іуда продолжалъ свои думы и самъ удивлялся и не понималъ, что не можетъ остановиться въ нихъ и отвести мысль отъ Игошуа Ганоцри. Его и озлобляло и страшило это безсиліе воли. Онъ боялся, что воля навѣки его покинула, что отнынѣ онъ уже не властенъ управлять своимъ умомъ, что мысль его померкла. Онъ въ суевѣрномъ ужасѣ чувствовалъ надъ своею головою могущество чьей-то враждебной казнящей силы, и въ сердцѣ его мучительно царило боязливое сомнѣніе объ этой силѣ. Онъ не зналъ, кому приписать это грозное обояніе—тому-ли князю бѣсовъ, чьимъ служителемъ называли казненнаго Пророка люди стараго завѣта; или необъятному божественному небу, чьимъ сыномъ и поводителемъ Онъ звалъ себя самъ?

Дитя грубаго, жестокаго вѣка, взрощенное на почвѣ, пропитанной кровью поколѣній, въ междоусобныхъ бра-
няхъ, Іуда ужасался не того, что сталъ причиною смерти
человѣка. Кто изъ самыхъ праведныхъ во Израилѣ не
носилъ на себѣ крови ближняго? — думалъ онъ. Царь
Давидъ, ради сладострастной прихоти, приказалъ умерт-
вить невиннаго Урію, и небо простило его, когда онъ
очистился покаяніемъ. А кто погибъ моими страданіями?
Преступникъ, возмутитель мира страны. Іегова не
можетъ мстить мнѣ за Того, Кто запрещалъ кровавыя
жертвы, отменялъ субботу и благочестіе старцевъ фа-
рисейскаго толка, протягивалъ благословляющія руни
къ язычникамъ Тира и Сидона, не стыдился общества
мытарей и блудницъ! И Іудѣ вспомнился знакомый
юноша изъ богатаго дома, по имени Савлъ, воспитан-
ный въ строгихъ правилахъ ветхаго іудейства: онъ
видѣлъ этого молодого фанатика въ тотъ день, когда
озвѣрѣвшая толпа, волнуясь и гудя, какъ море въ грозу,
подъ окномъ римской преторіи требовала отъ игемона
казни Іегошуа. Савлъ былъ одной изъ самыхъ яркихъ
волнь этого свирѣпаго моря, — въ его пламенныхъ гла-
захъ, въ румянецъ смуглаго лица Іуда могъ прочесть,
какъ дорогъ юношѣ его древній, суровый, молніеносный,
неназываемый Богъ мести до седьмого колѣна, — Богъ,
который цѣлыя тысячелѣтія боролся на этой священной
землѣ за кровь возжигаемыхъ жертвъ то съ Астар-
тою и Дагономъ, то съ Озирисомъ и Изидою, то съ Ве-
нерою и Зевсомъ, и всѣхъ побѣдилъ и грозно возсѣлъ
на Сіонѣ, мстительно-ревнивый къ своей власти. Іуда
вспомнилъ первосвященниковъ и судей синедріона —
важныя, холодныя, сѣдобородыя лица съ написаннымъ
на нихъ сознаниемъ необходимости исполнить жестокій
долгъ и казнью одного спасти вѣками установленный
порядокъ для всѣхъ. Вспомнилъ онъ еще одно лицо —

смуглое, мрачное съ затаенною грустью въ гордомъ и дикомъ взорѣ изъ-подъ насупленныхъ бровей. Оно принадлежало ремесленнику, Агасферу. Этотъ странный человѣкъ былъ безразличенъ къ вѣрѣ, но жарко любилъ свою угнетенную родину и ненавидѣлъ ея новыхъ господъ—римлянъ. Онъ когда-то явился къ Иегошуа, думая найти въ его возникающемъ могуществѣ зарю свободы Іудей; но мирный, враждебный насилію, усобицамъ, пролитію крови завѣтъ Пророка разбилъ его надежды. Агасферъ покинулъ Иегошуа, огорченный, отчаявшійся и озлобленный на Того, Кто одинъ могъ осуществитъ его смѣлыя мечты и успѣшно поднять своимъ всеильнымъ именемъ знамя возстанія противъ чужеземцевъ. И въ день гибели Пророка фанатикъ-патріотъ превзошелъ въ своей ярости фанатиковъ стараго закона.

— Какъ много, однако, было у него враговъ! — подумалъ Іуда, и на минуту ему стало легче отъ мысли, что, быть можетъ, онъ не одинъ страдаетъ страннымъ страхомъ, обуявшимъ его съ мига предательства, что можетъ быть та же участь, та же печать отверженія легла теперь, когда месть совершилась, страсти удовлетворены и затихли, на всѣхъ, кто въ буйномъ бѣшенствѣ топалъ ногами въ землю предъ лицомъ изумленного проконсула и кричалъ: „распи Его!“ Нѣтъ!.. Какъ ни свирѣпы были эти люди, довершившіе своимъ звѣрствомъ дѣло Іуды, предатель, противъ своего желанія, не чувствовалъ ихъ братьями себѣ по преступленію. Ихъ яростью руководили ошибки: одного обманула дѣтская узкая вѣра, другого—привычка къ вѣкамъ сложившемуся государственному строю, третьяго ослѣпила доведенная до крайности любовь къ отчизнѣ; но всѣ эти люди свято вѣровали въ правду своихъ ошибокъ, онѣ были ихъ убѣжденіями, истекали для нихъ изъ чувства долга. А Іуда?.. Онъ содрогался, все глубже и глубже заглядывая въ свою душу.

Онъ ненавидѣлъ Пророка въ то мгновеніе, когда предавалъ Его, — но за что? И тайный голосъ говорилъ Іудѣ, что онъ ненавидѣлъ Учителя притворно, нарочно, чтобы заглушить ненавистью стыдъ холодной, безстрастной измѣны. Что сдѣлалъ Іудѣ Іегошуа? Не отличилъ ли онъ талантъ и умъ Іуды, принявъ его въ число избранныхъ своихъ учениковъ, наслѣдниковъ Его власти на землѣ? Онъ любилъ Іуду, не отпускалъ его отъ Себя, довѣрилъ ему кису, куда складывались приношенія добрыхъ людей, творившихъ чрезъ Пророка милостыню бѣднымъ. Правда, отъ Него не скрылось слабостіе Іуды: умъ послѣдняго казался Ему легкимъ, неустойчивымъ и слишкомъ занятымъ собой и своею личной жизнью, тогда какъ другіе ученики, до самоубвенія великодушные, по примѣру Учителя, жертвовали нуждамъ ближнихъ столько же богатствомъ своихъ мыслей и чувствъ, сколько и убогими удобствами своей внѣшней жизни. Тѣло боролось въ Іудѣ съ духомъ; скитальческій строгій бытъ Пророка часто утомлялъ его, и тогда невольная досада проникала въ его умъ и притупляла мысли сомнѣніемъ, стѣбитъ ли небесный рай, обѣщанный Учителемъ, земныхъ лишеній, какія приходится испытывать въ ожиданіи загробныхъ блаженствъ. Онъ стыдился этихъ сомнѣній, боролся съ ними, побуждалъ ихъ, скрывалъ тщательно, и кромѣ Іегошуа никто не подозревалъ, какая нетерпѣливая, робкая, слабая и болѣзненная душа скрывается въ могучемъ съ виду тѣлѣ Іуды. Но Іегошуа зналъ. Недаромъ за той поздней вечерней трапезой, которой Учитель придалъ такое величавое таинственное значеніе, Онъ одного лишь Іуду призналъ способнымъ предать Себя. Какъ оскорбился тогда Іуда съ какимъ негодованіемъ оставилъ онъ собраніе учениковъ! какъ вся его душа всколыхнулась при неправомъ, какъ ему казалось тогда, обвиненіи

Учителя!.. А между тѣмъ, часъ спустя, онъ самъ уже велъ воиновъ на своего Равви. Какъ произошло это? Когда успѣло созрѣть и обратиться въ дѣло рѣшеніе, какъ слабая искра, зажженное въ умѣ Іуды обидными словами Пророка? Іуда самъ себѣ не вѣрилъ, совершивъ свое предательство, — ему хотѣлось думать, что онъ дѣйствовалъ не своею волей, что кто-то посторонній и сильный сбиль его съ праваго пути и уговорилъ отказаться отъ четырехлѣтней довѣрчивой дружбы самаго чистаго изъ существъ, когда-либо жившихъ на свѣтѣ, и стать въ ряды Его враговъ. Ему смутно чудилось, что его уговорили тогда — послѣ ночной трапезы, когда онъ, оставивъ Іегошуа, долго сидѣлъ, въ синихъ весеннихъ сумеркахъ, на покрытой холодною рососою каменной лѣстницѣ дома и, сжимая руками разгоряченную гнѣвомъ голову, съ злобнымъ страданіемъ прислушивался къ голосамъ свершающихъ новое таинство недавнихъ друзей. Кто уговорилъ? Іуда не зналъ, но странное сознаніе посторонней воли въ его преступленіи такъ крѣпко жило въ немъ, что онъ невольно искалъ дѣйствительнаго существа, нашептавшаго ему грѣхъ предательства въ уши. Образы Анны, Каіафы приходили ему въ память... Нѣтъ! это не то!.. Іуда узналъ ихъ уже послѣ, когда грѣхъ такъ цѣпко охватилъ его сердце, что идти навстрѣчу преступленію стало для него страстной, неудержимой потребностью, когда разгорѣлась и нарочная ненависть, и нарочный гнѣвъ... Кто же? Іудѣ десятками мерещились при этомъ вопросѣ знакомыя лица — и всего чаще почему-то острый, сердитый профиль невысокаго сѣдого фарисея. Кто онъ такой? Ахъ, да! Это тотъ старикъ, что былъ тогда у Каіафы. Изъявивъ готовность измѣнить и передаться, Іуда стоялъ предъ первосвященниками, самъ ошеломленный своимъ дѣломъ, съ одною мыслью, что отсту-

пать теперь поздно; ему предложили денегъ, — онъ взялъ ихъ равнодушно, даже не пересчиталъ... Тогда кто-то засмѣялся и сказалъ: „этому человѣку не деньги нужны!“ Иуда вздрогнулъ: говорилъ тотъ самый старичекъ. Онъ былъ правъ: Иудѣ не деньги были нужны; иначе — развѣ такой ничтожной рабской цѣною продалъ бы онъ своего Равви, самаго могучаго изъ мужей, жившихъ подъ небомъ Палестины? Но что же вообще ему было нужно? Неужели его дѣло не болѣе какъ почти безпричинная минутная вспышка обиженной слабой воли, пожелавшей проявить себя сильною хоть во враждѣ, если не довѣряють ея дружбѣ? Нѣтъ, не можетъ быть! Онъ — не мальчикъ, не неопитъ, только-что пришедшій къ великому Пророку; онъ былъ его сотрудникомъ и другомъ, четыре года впитывалъ въ себя святое ученіе обузданія страстей, прощенія обидъ, власти надъ собою, — какъ бы ни слабъ онъ былъ, но не настолько, чтобы однимъ мгновеніемъ страсти разрушить долгую работу надъ собою. Нѣтъ, онъ, дѣйствительно, только орудіе какой-то непостижимой, сверхъестественной вѣдшей силы... И суевѣрный ужасъ все грознѣе и грознѣе врался въ душу Иуды. Богу или Вельзевулу нужна была смерть Пророка, Иуда не умѣлъ рѣшить, но кому-то изъ двухъ онъ послужилъ, — это стало для него ясно.

Богу!.. Кто же изъ прежде обреченныхъ быть земнымъ орудіемъ Его карающей воли выносилъ хоть сотую долю страданій Иуды? Предатель вспомнилъ книги писанія... Вотъ Іаилъ пронзаетъ гвоздемъ голову довѣрившагося ея гостепримству Сисарры, вотъ Илія закалаетъ жрецовъ Ваала, вотъ дѣти Іакова истребляютъ обманомъ оскорбителей своей сестры жителей Сихема, вотъ Давидъ сорокъ лѣтъ купается въ крови враговъ своихъ и своей вѣры, — и всѣ они спокойны и чисты

духомъ, не мучатся ни сомнѣніями, ни угрызениями совѣсти—они убиваютъ, жгутъ, рѣжутъ, предають во имя Бога, исполняя свой долгъ. Опять размышленія привели Іуду къ этому слову, и опять онъ почувствовалъ, что слово это для него мертво.

— Бѣсъ во мнѣ!..—громко воскликнулъ преступный ученикъ,—и эхо окрестныхъ холмовъ отозвалось на его крикъ. Бѣсъ во мнѣ!—Онъ былъ тотъ, кто сидѣлъ рядомъ со мною на лѣстницѣ и шепталъ мнѣ лживыя рѣчи: поди, отомсти, предай его за нанесенное оскорбленіе! Не бойся Его величія! Если Онъ Богъ,—твое предательство не сдѣлаетъ Ему вреда: Онъ сдержитъ свое обѣщаніе — умереть и воскреснетъ на третій день; ты только поможешь Ему проявить свое могущество. Если Онъ человекъ, — то стоитъ-ли пощады обманщика?.. Бѣсъ во мнѣ! Я умертвилъ добро и сталъ чуждъ и враждебенъ людямъ! Я одинъ на свѣтѣ, одинъ съ олицетвореніемъ зла, заключеннымъ въ моей душѣ и такъ будетъ до самой смерти!..

И Іуда съ трепетомъ озирался вокругъ себя, словно ища рядомъ съ собою торжествующій черный образъ того, кому приписывалъ свое паденіе. Но и степь, и горы были пусты и тихи. Только на далекомъ югѣ вставало темное облачко, и вѣтеръ отъ него, пробѣгая по пустынѣ, вздувалъ время отъ времени своимъ жгучимъ дыханіемъ зловѣщіе песчаные вихри. Іуда сошелъ съ холма и пошелъ имъ навстрѣчу. Богъ его не видали на землѣ.

К А З Н Ъ.

Посвящается Василию Ивановичу Немировичу-Данченко.

I.

Вечеромъ, 17-го сентября 187* года, судебный слѣдователь города У., Валеріанъ Антоновичъ Лаврухинъ, былъ въ гостяхъ у своего ближайшаго сосѣда, доктора Арсеньева, справлявшаго именины своей племянницы, Вѣры Михайловны. Молодая жена Лаврухина, Евгенія Николаевна, чувствуя себя несовсѣмъ хорошо, оставалась дома. Въ десять часовъ она приняла бромистаго кали и легла въ постель, наказавъ горничной навѣдаться въ спальню часамъ къ двѣнадцати и, — въ случаѣ, еслибъ Евгенія Николаевна уже заснула, — потушить лампу. До назначеннаго срока горничная сидѣла въ людской, играя въ карты съ кухаркой и дворникомъ; кромѣ ихъ троицъ, барыни, да спавшаго на кухонной печи вѣстового, въ домѣ никого не было. Въ полночь горничная отправилась взглянуть на больную. Къ своему ужасу, она увидѣла окно спальни раскрытымъ настежь, а полъ испрещеннымъ чьими-то темными слѣдами. Бросилась къ барынь—и нашла ее всю въ крови и уже холодною. Конечно, поднялся шумъ, явилась полиція.

Слѣдствіе по этому дѣлу дало такіе результаты:

Лаврухина была зарѣзана тремя безусловно смертельными ударами колющаго орудія въ горло, животь

и лѣвый пахъ. Ссадинъ, царапинъ и боевыхъ знаковъ на тѣлѣ не оказалось, а спокойное выраженіе лица умершей и положеніе трупа давали основаніе думать, что убійца подкрался къ своей жертвѣ во время сна и поразилъ ее внезапно. Изъ ушей покойной были вынуты серьги, съ пальцевъ сняты кольца, съ ночного столика пропала драгоцѣнный складень—благословеніе матери Евгеніи Николаевны.

Спальня помѣщалась во второмъ этажѣ и выходила своимъ единственнымъ широкимъ венеціанскимъ окномъ въ садъ; отъ окна спускалась внизъ желѣзная пожарная лѣстница. И ея ступени и подоконникъ были въ нѣсколькихъ мѣстахъ запачканы кровью. У окна не было задвижки; только утромъ, въ день убійства, въ него вставили новое стекло, вмѣсто разбитаго наканунѣ самимъ бариномъ. Отъ лѣстницы слѣды такіе же, какъ въ комнатѣ убійства, вели къ забору, отдѣлявшему лаврухинскій садъ отъ обширнаго пустыря, круто спускавшагося къ рѣкѣ Твѣ. Здѣсь слѣды исчезали.

Въ убійствѣ былъ заподозрѣнъ стекольщикъ Вавила Тимоеевъ—горькій пьяница, истый бичъ города, полный бездомовникъ. Противъ него говорили весьма вѣскія улики. Въ одной изъ клумбъ лаврухинскаго цвѣтника нашлась отлично отточенная окровавленная стамеска; своими размѣрами она пришлась какъ-разъ по ранамъ Евгеніи Николаевны. Стамеска принадлежала Вавилѣ. Утромъ, предъ убійствомъ, Вавила вставлялъ стекло въ окно спальни и сильно побранился съ Лаврухиной изъ-за платы. Вечеромъ его видѣли, мертвецки пьянаго, бродящимъ по пустырю, вдоль садоваго забора. Наконецъ, въ дополненіе всего, Вавила въ ночь на 17-е сентября скрылся изъ У. Недѣлю спустя, его арестовали въ сосѣдномъ уѣздѣ, по доносу трактирщика, которому онъ предложилъ въ залогъ похищенные вещи.

Сапоги Вавилы аккуратно подошли къ сѣдамъ убійцы.

Несмотря на столь очевидную виновность, преступникъ упорно заперся и рассказывалъ въ свое оправданіе совсѣмъ фантастическую сказку: будто онъ, дѣйствительно, былъ 17-го сентября сильно выпивши и не помнить, гдѣ заснулъ; на другой день очнулся на берегу по ту сторону Твы, рядомъ съ собой нашелъ свои сапоги, а у себя за пазухой драгоцѣнныя вещи; очень испугался, что его за такую находку засудятъ, и бросился въ бѣга. Кто подложилъ ему вещи, и какъ онъ попалъ на другой берегъ Твы, — ему неизвѣстно. Понятно, что судъ не удовлетворился нелѣпымъ лганьемъ преступника, и Вавила пошелъ на каторгу.

Смерть горячо любимой жены едва не убила Лаврухина; онъ потерялъ рассудокъ и, помѣщенный въ лѣчебницу душевно-больныхъ, провелъ около года въ самой мрачной меланхоліи. Потомъ онъ поправился, пришелъ въ память, оставилъ больницу, началъ гулять, бывать въ обществѣ, ходить въ гости, и особенно часто къ Арсеньевымъ. Въ У. заговорили, что Лаврухинъ женится на Вѣрѣ Арсеньевой, и скоро слухи оправдались.

Молодые супруги зажили отлично. Замѣчали только, что Лаврухинъ какъ будто опять началъ хандрить, находится въ большомъ подчиненіи у своей жены и, пожалуй, даже побаивается ее. Такъ прошелъ еще годъ.

Память смерти Евгеніи Николаевны, какъ уже сказано, совпадаетъ со днемъ ангела Вѣры Михайловны. 17-го сентября у Лаврухиныхъ было много гостей. Хозяинъ весь вечеръ казался очень не въ духѣ и довольно неудачно притворялся веселымъ. Вѣра Михайловна дѣлала приготовленія по хозяйству и, наконецъ, пригласила гостей закусить. За ужиномъ она обратилась къ мужу съ какимъ-то вопросомъ, и тогда произошло нѣчто неожиданное и до невѣроятія ужасное. Едва несчастная

женщина произнесла „Валя!“—Лаврухинъ, какъ тигръ, вскочилъ съ мѣста съ пѣной у рта и, съ ножомъ въ рукѣ, которымъ только-что рѣзалъ ростбифъ, бросился на жену. Безумнаго схватили, но уже слишкомъ поздно: Вѣра Михайловна упала на полъ бездыханною...

— Что вы сдѣлали, несчастный?! въ отчаяніи спросилъ убійцу Арсеньевъ.

— Теперь она не будетъ больше сводить меня съ ума!—отвѣчалъ Лаврухинъ и лишился чувствъ. Черезъ три дня онъ умеръ въ больницѣ, ни разу не придя въ себя: буйные припадки слѣдовали одинъ за другимъ. По смерти Лаврухина, между его бумагами, были найдены записки, гдѣ онъ разсказалъ странную исторію своей жизни. Вотъ что онъ писалъ.

II.

Я получилъ назначеніе въ У. семь лѣтъ тому назадъ. Тогда я только что женился на Евгеніи Николаевнѣ Рогаткиной. Моя первая жена была, какъ все помнятъ, маленькимъ совершенствомъ: хороша собой, добра, какъ ангелъ, не глупа, прекрасно воспитана и съ порядочнымъ состояніемъ. Она меня обожала; мнѣ казалось, что и я ее очень люблю. Вскорѣ моя страсть остыла, но мнѣ было совѣстно показать охлажденіе женщинѣ, достойной вѣчнаго и непрерывнаго поклоненія, и я сталъ играть роль нѣжнаго супруга, какимъ, еще недавно, былъ на самомъ дѣлѣ. Порою мнѣ удавалось заигрывать до того, что я самъ себя обманывалъ и снова вѣрилъ въ дѣйствительность уже не существующей любви. Но гораздо чаще ложь моихъ отношеній къ женѣ уязвляла меня горькимъ стыдомъ; тѣмъ не менѣе, показать себя въ настоящемъ свѣтѣ у меня никогда не хватало духа, и цѣлые четыре года я громоз-

диль предъ Евгеніей обманъ на обманъ въ словахъ, чувствахъ, поступкахъ. Стыдъ своей трусости тяжело отзывался на мнѣ, и изъ человѣка, полного жизненныхъ силъ и болѣе или менѣе довольнаго судьбою, я сдѣлался мрачнымъ, унылымъ брюзгой. Презирая себя за слабоволіе, я все надѣялся, что авось какъ-нибудь, если ужъ я самъ безвластенъ надъ собою, такъ хоть счастливый случай переименитъ и направитъ мой скучный бытъ по новому руслу.

Въ это самое время къ доктору Арсеньеву пріѣхала на житье его племянница Вѣра Михайловна—отслужившая срокъ пепиньерка одного изъ провинціальныхъ институтовъ. Эта оригинальная дѣвушка, не особенно красивая, съ холодными руками и тусклымъ взоромъ, произвела на меня весьма смутное впечатлѣніе: я сразу ощутилъ тоскливое предчувствіе, что она не пройдетъ безслѣдной тѣнью въ моей жизни, въ душѣ моей шевельнулась безотчетная боязнь ея, и, несмотря на то, меня все-таки, какъ говорится, потянуло къ ней. Покойной женѣ моей Вѣра Михайловна была глубоко антипатична: ея мертвенная блѣдность, ея странный взглядъ, ея холодныя руки почти пугали Евгенію; а когда однажды обѣ женщины разговорились наединѣ, то Вѣра, оставивъ обычную молчаливость, высказала столько цинизма въ своихъ убѣжденіяхъ, столько сухого безсердечія и безвѣрія, что Евгенія совсѣмъ растерялась и искренно пожалѣла объ институтѣ, гдѣ Арсеньева была надзирательницей. Я лично, справясь съ первымъ впечатлѣніемъ, заинтересовался Вѣрою, какъ новымъ лицомъ, какъ умною и развитою — совсѣмъ не похожей на барышень уѣзднаго городишка,—дѣвушкой. Потомъ я началъ находить, что она далеко не дурна собою и очень изящна, и кончилъ тѣмъ, что влюбился въ нее. Не знаю, угадывала ли Вѣра мои чувства,—въ ея за-

гадочныхъ глазахъ никогда нельзя было ничего прочитывать. Она не кокетничала со мною, но и не избѣгала меня. Я, стыдась своего увлеченія, никогда не говорилъ съ ней о любви.

Однажды въ іюль, днемъ, жены не было дома. Я лежалъ въ своемъ кабинетѣ на кушеткѣ, закинувъ руки за голову, и думалъ о скукѣ своей жизни и о Вѣрѣ. Легкій шорохъ въ гостиной заставилъ меня подняться, и, отворивъ дверь, я увидѣлъ ту, о комъ только-что мечталъ.

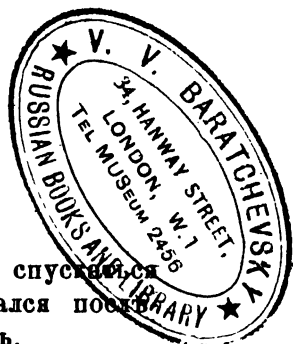
— Вы обѣщали мнѣ, — сказала Вѣра своимъ ровнымъ, тихимъ голосомъ, — вы обѣщали мнѣ позволить разобратъ въ старыхъ портретахъ: ихъ у васъ, вы говорили, много валяется гдѣ-то. У меня выдалось свободное время, — вотъ, я и пришла.

Портреты были сложены на чердакѣ, и мы съ Вѣрой вообразились туда. День былъ жаркій и знойный, подъ раскаленной крышей было невыносимо душно. Вѣра внимательно вглядывалась въ пыльные полотна, по видимому, совсѣмъ не замѣчая волненія, овладѣвшаго мною, едва мы остались вдвоемъ. А оно все росло, росло... и вдругъ безумное влеченіе къ этой женщинѣ, какъ пламя, охватило всего меня, — и я овладѣлъ ею насильно.

Когда затѣмъ Вѣра взглянула въ мои глаза, я задрожалъ. Я увидѣлъ бѣлое, какъ полотно, лицо, синія искривленныя губы, широкооткрытые черные глаза, съ нестерпимымъ враждебнымъ блескомъ. Ни стыда, ни страха, ни отчаянія, — одна злоба, и даже не гнѣвная, а холодная, свирѣпая злоба, легла на ея черты. Мнѣ стало страшно. Вѣра приблизилась ко мнѣ и, не отрывая отъ меня своего ненавистнаго взора, сказала внятнымъ и грознымъ шопотомъ:

— Теперь ты женишься на мнѣ, или... ты пропадѣ!

Потомъ отвернулась и спокойно начала спускаться по лѣстницѣ. Когда я—опомнившись—собрался поспѣвать за нею, она уже оставила мой домъ.



III.

Раньше я былъ неискреннимъ, но честнымъ человекомъ, и первое преступленіе легло тяжелымъ камнемъ мнѣ на душу. Я не смѣлъ поднять глаза на жену, стыдился видѣть себя въ зеркалѣ. Позоръ сознанія, что я—представитель правосудія, счастливый семьянинъ, развитой человекъ—оказался способнымъ на гнусный звѣрскій проступокъ, задалъ мое существованіе, и позоръ былъ тѣмъ болѣе великъ, что меня сильнѣе, чѣмъ когда-либо, тянуло къ Вѣрѣ. Единственнымъ возможнымъ оправданіемъ была для меня упорная мысль: должно быть, я дѣйствительно горячо люблю, если не могъ справиться со своею страстью... Грозное лицо, дикія слова Вѣры стояли въ моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не можетъ не чувствовать къ женщинѣ, заставившей его бояться себя, влекло меня посмотреть на странную дѣвушку и разгадать ее.

Мы увидѣлись, и судьба моя была рѣшена. Я сталъ рабомъ Вѣры и весь ушелъ въ одну идею: обладать ею на всю жизнь, назвать ее своею женою.

Между мною и Вѣрой стояла Евгения.

Въ одинъ темный вечеръ, когда въ бесѣдку арсеньевскаго сада,—пріютъ нашихъ преступныхъ свиданій,—теплый южный вѣтеръ дышалъ благоуханіями цвѣтника, когда съ синяго неба смотрѣли на насъ большія яркія звѣзды,—я, задыхаясь отъ страсти, между двумя поцѣлуями, отвѣтилъ своей любовницѣ согласіемъ на страшный приказъ убить свою жену.

Съ тѣхъ поръ я жилъ словно въ полуснѣ, будто пьяный. Не удивительно, что я оказался въ состояніи

убить — ударить ножомъ, задушить, утопить; мой за-
гипнотизированный умъ сроднился съ идеей необходимо-
сти убійства, и подъ ея давленіемъ я могъ бы опустить
на Евгенію свою руку машинально, словно исполняя свой
долгъ. Но не понимаю, какъ я удержался отъ простого,
грубаго, прямого нападенія на жену, какъ могъ зародить-
ся и вырѣчь въ моей головѣ дьявольски-тонкій планъ,
которымъ я отправилъ на каторгу невиннаго человѣка,
самъ оставшись внѣ всякихъ подозрѣній. Я дѣйстви-
тельно какъ бы подъ внушеніемъ... О, Боже мой! если бъ
я могъ забыть эти безумныя ночи въ арсеньевскомъ
саду, робкій свѣтъ сквозь шумящую листву тополей,
блѣдное женское лицо съ сверкающими глазами, цѣпки
узкія руки на моихъ плечахъ и тихій ровный голосъ,
нашептывающій мнѣ кровавыя слова!

Въ ночь на 17-е сентября я хотѣлъ освѣжить свою
душную спальню, всталъ съ постели, попробовалъ отво-
рить окно, и вдругъ будто нечаяннымъ движеніемъ
локтя выбилъ одно изъ стеколъ рамы. Утромъ жена
проснулась съ легкимъ гриппомъ и уже заранѣе рѣ-
шила, что не пойдетъ на вечеръ къ Арсеньевымъ. При-
шелъ стекольщикъ Вавила и поправилъ раму. Онъ за-
просилъ лишнее, и жена съ нимъ побранилась.

— Избавь меня отъ шума!—съ досадою сказалъ я,—
заплати ему, сколько онъ просить!

Евгенія повиновалась, но, отдавая деньги, не утер-
пѣла, чтобы не обозвать Вавилу мошенникомъ и воромъ,
и стекольщикъ ушелъ ворча и очень недовольный.

Вавила былъ давно указанъ мнѣ Вѣрою, какъ че-
ловѣкъ, пригодный, чтобы свалить на него подозрѣніе.
Помимо своей отвратительной репутаціи, онъ былъ дра-
гоцѣненъ для меня еще вотъ чѣмъ: каждый вечеръ онъ
напивался до безчувствія и принимался буянить въ сво-
емъ домѣ; дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что жена

Бавилы сзывала сосѣдей и выталкивала мужа изъ хаты на улицу, послѣ чего стекольщикъ, покричавъ и поругавшись малую толику, отправился спать всегда въ одно и то же мѣсто — на пустырь подъ заборъ нашего сада.

Оставивъ жену дома, я посоветовалъ ей лечь въ постель. Я былъ совершенно спокоенъ, хотя зналъ, что вернусь домой лишь за тѣмъ, чтобъ убить Евгению. Я — слишкомъ современный характеръ. У меня черезчуръ много *совѣстливости*, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мнѣ *совѣсть*; я изъ тѣхъ, кто лжетъ, притворяется, насилуетъ свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человѣку *явного*, хотя бы маленькаго, нравственнаго укола, чтобы потомъ не выслушать упрека за это, — но, во имя своего личнаго спокойствія или удовлетворенія господствующей страсти, легко рѣшается на *тайное* преступленіе надъ ближайшимъ другомъ. Я нервенъ. Сызмальства я боялся одиночества, потемокъ, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрѣлся ко всякимъ страхамъ и научился дешево цѣнить человѣческую жизнь — слабую искру, погасающую отъ первой несчастной случайности. Въ самомъ преступленіи я боялся одного: что застану Евгению еще не спящей и тогда не посмѣю напасть на нее. Евгения должна была умереть, не вѣдая, что я негодяй, продолжая вѣрить въ меня, какъ при жизни: одинъ взглядъ разочарованія и презрѣнія въ ея честныхъ глазахъ, — и моя рука не поднялась бы на нее, я чувствовалъ бы себя ея рабомъ.

IV.

Я кончилъ пультку преферанса за почетнымъ столомъ и передалъ мѣсто мировому судѣю Сабурову, а самъ присоединился къ кружку молодежи. Въ комнатахъ

у Арсеньевыхъ было жарко; темный осенній вечеръ заманчиво глядѣлъ изъ сада въ окна. Вѣра предложила гостямъ прогуляться немного на свѣжемъ воздухѣ. Желающіе нашлись. Между ними, конечно, былъ и я. Садъ у Арсеньевыхъ громадный, тѣнистый и темный. Я шелъ сзади всей нашей компаніи, подъ руку съ Вѣрой; она весело болтала со мной и еще однимъ молодымъ человѣкомъ, нотаріусомъ Динашевымъ. Онъ остался безъ пары и шелъ рядомъ. Такъ мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы; здѣсь, у купальни, качался на волнахъ маленькій яликъ—забава Вѣры. Я почувствовалъ легкій толчекъ... сердце мое забилось: Вѣра дала мнѣ сигналъ дѣйствовать. Я нарочно спотыкнулся.

— Какой вы неловкій, Валерьянъ Антоновичъ!—досадливо замѣтила Вѣра,—съ вами невозможно идти... М-г Динашевъ! дайте мнѣ вашу руку!

Я понемногу отсталъ отъ этой парочки. Вотъ, они повернули въ центръ сада, къ цвѣтнику, и исчезли за кустами сирени. Я быстро сѣлъ въ яликъ и оттолкнулъ его отъ купальни. Преступленіе началось. Теперь у меня не было ни сомнѣній, ни боязни. Мнѣ былъ внятень только одинъ призывъ: „скорѣе!“ Въ два взмаха вѣселья я достигъ своего пустыря. Было очень темно, но я не успѣлъ сдѣлать и десяти шаговъ, какъ наткнулся на храпѣвшаго Вавилу. Пьяница спалъ, какъ убитый. Я снялъ съ него сапоги, переобулся и раздѣлся, оставивъ на себѣ одну фуфайку. Затѣмъ поднялъ безчувственного Вавилу за плечи и перетащилъ его въ яликъ, гдѣ и оставилъ вмѣстѣ со своею одеждой. Проникнуть незамѣтно въ свой домъ мнѣ ничего не стоило: вспомните отвинченную задвижку венеціанскаго окна.

Евгенія приняла на ночь бромистый кали — я самъ совѣтовалъ ей это. На ея здоровую, непривычную къ

лѣкарствамъ натуру бромъ подѣйствовалъ сильно; отворяя окно, я немного напумѣлъ, но Евгенія и не пошевелилась. Тогда я подкрался къ кровати... Я не даромъ изучалъ когда-то судебную медицину и присутствовалъ при сотняхъ вскрытій: Евгенія умерла моментально, безъ мученій; отъ сна она прямо перешла въ объятія смерти. Я стоялъ надъ ея тѣломъ, пока не убѣдился, что она вполне мертва. Потомъ я забралъ цѣнныя вещи съ ночного столика, снялъ съ покойницы серьги и кольца и вылѣзъ обратно въ окно. Орудіе убійства—стамеску—я по дорогѣ бросилъ въ цвѣтникъ. Слѣдствіе напрасно сочло эту стамеску собственностью Вавилы; я получилъ ее,—блестящую и наточенную, какъ бритва,—за два часа передъ тѣмъ изъ рукъ Вѣры, а гдѣ достала ее Вѣра,—не знаю. Вавилу я перевезъ на другой берегъ Твы,—разсказъ стекольщика на судѣ совершенно правдивъ. Проходя по арсеньевскому саду, я зажегъ спичку и посмотрѣлъ на часы. Все мое отсутствіе продолжалось сорокъ минутъ. Я направился въ кабинетъ Арсеньева, къ преферансистамъ; зеркало въ передней показало мнѣ, что я, несмотря на спѣхъ и темноту, одѣлся какъ слѣдуетъ.

— Нагулялись? — спросилъ меня хозяинъ.

— Да, — отвѣтилъ я беззаботно, — сыро, знаете... Молодежи хорошо рисковать, а у меня ревматизмъ.

— Дѣло плохое.

Сабуровъ вышелъ изъ пушки, и я съѣлъ за него. Игралъ я отлично, не хуже, чѣмъ всегда, а, между тѣмъ, дѣлалъ ходы совсѣмъ машинально, потому что меня грызало безпокойство: „скоро ли прибгуть изъ дома съ извѣстіемъ объ убійствѣ?“ Вошла Вѣра. На ея вопросительный взглядъ я кивнулъ ей головой. Она равнодушно отвернулась. Почему-то меня покорило ея хладнокровіе; я разсердился, и вдругъ во мнѣ что-то

словно сорвалось съ мѣста, всколыхнулось и задрожало; мои колѣна невольно застучали одно о другое, а карты заплясали въ рукахъ. Могучимъ напряженіемъ воли я сдержалъ этотъ нервный припадокъ, — тогда онъ принялъ другую форму. Истерическое удушье шаромъ поднялось отъ діафрагмы къ горлу, и я, едва дыша, чувствовалъ, что если не проглочу этого шара, то онъ меня задушитъ, а чтобы проглотить его, я непременно долженъ сперва заплавать...

Наконецъ, убійство обнаружилось: мнѣ дали знать, и, опростелю добѣжавъ домой, я упалъ на тѣло своей жертвы въ непритворномъ обморокѣ.

V.

Разсказывать свою жизнь въ лѣчебницѣ я не буду. Я не жалѣлъ Евгеніи и не страдалъ муками совѣсти: я не вѣрю въ безсмертіе, а разъ его нѣтъ, — такъ чего же стѣдить жизнь, что ужаснаго въ ея потерѣ? И самоубійство не страшно, и убійство не жестокое дѣло, не преступленіе. Свои больничные дни я проводилъ, лежа на кровати и устремивъ глаза на мѣдный отдушникъ печки. Меня занимало, какъ, подъ моимъ пристальнымъ наблюденіемъ, онъ мало-по-малу расплывался въ большое свѣтлое пятно, и на фонѣ его я видѣлъ разныя странныя фигуры, лица знакомыхъ, а чаще всего Вѣру. Сторожа утверждали, будто я часто разговаривалъ самъ съ собою, но я не замѣчалъ этого. Вообще, не рѣшусь сказать, былъ ли я вполне нормальнымъ умственно въ то время. Скорѣе нѣтъ: ужъ слишкомъ апатично жилось мнѣ и думалось въ лѣчебницѣ. Сколько помню, я тогда съ удовольствіемъ сосредоточивался лишь на двухъ мысляхъ — что мнѣ надо притворяться сумасшедшимъ и что скоро женюсь на Вѣрѣ. Арсеньевы изрѣдка навѣщали меня.

Наконецъ, я выздоровѣлъ. Женился.

Тутъ-то и ждало меня возмездіе. Въ день свадьбы я былъ сильно взволнованъ; у меня какъ-то особенно болѣла голова—боль, вродѣ мигрени, шла отъ затылка двумя вѣтвями къ вискамъ—и все детали мушки передъ глазами. Помню также, что въ тотъ день я нѣсколько разъ ошибся въ распознаваніи цвѣтовъ, хотя раньше никогда не страдалъ дальтонизмомъ. Подъ вѣнцомъ я, совсѣмъ больной и разстроенный, едва крѣпился, чтобы выдержать церемонію до конца прилично, съ достоинствомъ. Священникъ предложилъ намъ поцѣловаться. Я взглянулъ на Вѣру, — и кровь застыла въ моихъ жилахъ, голова закружилась, я чуть не закричалъ отъ испуга; едва устоялъ на ногахъ: изъ-подъ вѣнчальнаго вуаля на меня смотрѣло совсѣмъ не Вѣрочкино лицо — предо мной стояла Евгенія! Она выглядѣла здоровой, румяной, кроткой, веселой, какъ при жизни: она улыбалась... И это лицо я долженъ былъ поцѣловать! Я сознавалъ, что брежу, галлюцинирую, но—какая страшная галлюцинація! Призвавъ на помощь всю силу духа, я быстро дотронулся до своего лѣваго глаза,—давленіе на сѣтчатку—лучшее средство прогнать обманъ зрѣнія: видѣніе исчезло. Я снова узналъ Вѣру; она смотрѣла на меня съ выраженіемъ крайняго изумленія и безпокойства; такъ измѣнился я въ лицѣ!

Когда я рассказалъ Вѣрѣ, что случилось со мной, она расхохоталась. Эта женщина никогда ничего не боится, ничѣмъ не волнуется и надъ всѣмъ смѣется! Прошло нѣсколько дней; мнѣ стало лучше, голова меньше болѣла, настроеніе было спокойнѣе. Вдругъ, въ одинъ вечеръ, когда мы съ Вѣрой сѣли за ужинъ, галлюцинація повторилась съ прежней отвратительной и безпощадной ясностью. Я оттолкнулъ тарелку и всталъ изъ-за стола, задрожавъ, какъ листъ. Вѣра догадалась.

— Тебѣ опять причудилось?—спросила она со своимъ обычнымъ сухимъ смѣхомъ, но и слова ея, и глумливый тонъ, вмѣсто того, чтобы ободрить, привели меня въ еще большій страхъ: я слышалъ голосъ Вѣры, а продолжалъ видѣть Евгенію. Такъ длилось нѣсколько секундъ.

Съ того вечера приговоръ моей жалкой участи былъ опредѣленъ. Галлюцинація посѣщала меня все чаще и чаще; Вѣра по нѣскольку разъ въ день превращалась для меня въ Евгенію; просыпаясь ночью, я то и дѣло узнавалъ рядомъ съ собой, на подушкѣ, голову своей погибшей жертвы, не выносилъ этого зрѣлища и будилъ Вѣру, а она злилась, что я не даю ей спать своими безумствами. Ни хлораль-гидратъ, ни морфій не помогли мнѣ: Я принужденъ былъ бояться присутствія своей жены; заслышавъ ея шаги, я всякій разъ съ невольной дрожью думалъ: „а вдругъ она сейчасъ войдетъ, и снова повторится проклятое видѣніе?“—и мои опасенія почти всегда оправдывались. Я сталъ дичиться Вѣры, запирается отъ нея, но, вѣдь, мы—мужъ и жена, у насъ не проходитъ часа безъ невольной встрѣчи, а встрѣчаться такъ жутко, такъ нестерпимо!.. Разстаться бы, разлучиться совсѣмъ,—такъ воли нѣтъ: я люблю Вѣру, да и не пуститъ она меня отъ себя! И кто мнѣ поручится, что въ другомъ мѣстѣ, другая женщина не сдѣлается для меня предметомъ такой же,—а, можетъ быть, и еще худшей галлюцинаціи? Мозгъ мой пораженъ и не способенъ на правильныя отправленія,—я слишкомъ много видѣлъ чужого безумія, чтобы притворяться теперь, будто не сознаю своего. И если оставить Вѣру, за что же тогда погибла Евгенія? Я человѣческую жизнь отдаю за право владѣть ею и скорѣй погибну, чѣмъ уступлю взятую съ бою, омытую кровью, добычу!..

Но какъ утомили и ожесточили мой бѣдный умъ эта

жизнь подъ вѣчнымъ страхомъ, эта постоянная пытка зрѣнія, эти безконечныя сомнѣнія! Что дѣлать, какъ быть, какъ жить дальше? Я преступень, я злодѣй, но казнь моя выше мѣры, и я проклиная мстительный призракъ моего воображенія! Когда онъ является ко мнѣ, я ненавижу его и, вопреки своему страху, готовъ броситься на него и истерзать его образъ, какъ онъ самъ терзаетъ мою душу, и только убѣжденіе, что я боленъ, что меня пугаетъ ложная мечта, что подъ оболочкой призрака скрыта моя любимая Вѣра,—только это убѣжденіе, еще присущее моей отуманенной мысли, сдерживаетъ меня, и я въ бессильной злобѣ кусаю себѣ руки, но молчу и терплю. Но что, если все это такъ и продолжится? Если мой умъ еще больше ослабнетъ подъ тяжестью ежедневныхъ грозныхъ впечатлѣній? Если последнее спасительное убѣжденіе погаснетъ? Мнѣ страшно... я не хочу заглядывать въ будущее...

А голова все болитъ и болитъ, день ото дня все сильнѣе, рѣзче, назойливѣе, и черныя мысли стучатся въ нее громко, самоувѣренно, какъ полновластные хозяева. И откуда взялись онѣ—мои злыя мысли? Неужели онѣ—голосъ пробудившейся отъ долгой спячки совѣсти? Если—да, почему же я одинъ изнемогаю подъ бременемъ ея проклятія? Отчего Вѣра спокойно спитъ, сладко ѣсть и пьетъ, а я самъ не свой мыкаюсь по свѣту, какъ Каинъ, отвергнутый Богомъ? А, вѣдь, она больше виновата, чѣмъ я: она была злою волей моего преступления, я—только орудіемъ...

Жена идетъ. Я слышу шелестъ ея платья. Вотъ, въ моемъ настольномъ зеркалѣ отразилась ея фигура... Опять Евгенія! опять!..

Боже мой! да когда же и чѣмъ кончится этотъ ужасъ!?

О Н Ъ.

Постойте, дайте припомнить... Я вамъ все расскажу, все безъ утайки,— только не торопите меня, дайте хорошенько припомнить, какъ это началось...

Простите, если мои слова покажутся вамъ странными и дикими. Съ меня нельзя много требовать; вы, вѣдь, знаете: мои родные объявили меня сумасшедшею и лѣчатъ меня, лѣчатъ... безъ конца лѣчатъ! Возили меня и къ Кожевникову въ Москву, и къ Шарко въ Парижъ, пользовали лѣкарствами, пользовали душами, инъекціями, гипнотизмомъ... чѣмъ только не пользовали! Наконецъ, всѣмъ надоѣло возиться со мной, и вотъ посадили меня сюда—въ эту скучную лѣчебницу, гдѣ вы меня теперь видите. Здѣсь ничего себѣ, довольно удобно; только зачѣмъ эти рѣшетки въ окнахъ? Я не убѣгу; мнѣ все равно, гдѣ ни жить: здѣсь-ли, на свободѣ-ли, я всюду одинаково несчастна, а, между тѣмъ, видъ этихъ бесполезныхъ рѣшетокъ такъ мучить меня, дразнить, угнетаетъ...

Можетъ быть, мои родные правы, и я въ самомъ дѣлѣ безумная,— я не спорю. Мнѣ даже хотѣлось бы, чтобы они были правы: то, что я переживаю, слишкомъ

тяжко... Я была-бы счастлива сознавать, что моя жизнь— не действительность, а сплошная галлюцинація, вседневный бредъ, непрерывный рядъ воплощеній нелѣпой идеи, призраковъ больного воображенія. Но я не чувствую за собою права на такое сознаніе. Память моя при мнѣ, и я мыслю связно и отчетливо. Меня испытывали въ губернскомъ правленіи; чиновники задавали мнѣ формальные вопросы, и я отвѣчала имъ здраво, какъ слѣдуетъ. Только, когда губернскій предводитель спросилъ меня: помню-ли я, какъ меня зовутъ? — мнѣ стало смѣшно. Я подумала: ему ужасно хочется, чтобъ я отвѣтила ему какой-нибудь дикостью, хоть въ чемъ-нибудь проявила свое безуміе, — и, на смѣхъ старику, сказала: меня зовутъ Маріей Стюартъ. Этимъ я съ ними и покончила.

Но вы не чиновникъ, не допрашиваете меня, не надѣдаете мнѣ, — слѣдовательно, и у меня нѣтъ причинъ смѣяться надъ вами, дурачить васъ безмысленными выходками. Разумѣется, я не Марія Стюартъ, а просто Ядвига С., младшая дочь графа Станислава С. Лѣта свои я затрудняюсь сказать. Видите-ли: когда со мной началось это, мнѣ было шестнадцать лѣтъ, но съ тѣхъ поръ дни и ночи летятъ такимъ порывистымъ безпорядочнымъ вихремъ... я совсѣмъ потеряла въ нихъ счетъ. Иногда мнѣ кажется, будто мое безуміе продолжается цѣлую вѣчность, иногда—что отъ начала его не прошло и года.

Мой отецъ извѣстный человѣкъ на Литвѣ. Близъ К. у насъ есть имѣніе—богатое, хоть и запущенное. Мы ѣздимъ туда на лѣто и проводимъ два мѣсяца въ ветхой башнѣ, гдѣ родились, жили и умирали наши дѣды и прадѣды. Хлопы зовутъ нашу башню замкомъ, и точно: она—послѣдній остатокъ роскошнаго зданія, построеннаго въ XVI вѣкѣ знаменитымъ нашимъ предкомъ, ли-

товскимъ короннымъ гетманомъ. Оно простояло два вѣка; пожаръ и пороховой взрывъ въ погребахъ разрушили его въ началѣ текущаго столѣтія почти до основанія.

Гетманъ умѣлъ выбрать мѣсто для замка — у подножія высокой лѣсистой горы, въ крутомъ колѣнѣ свѣтлой рѣчки. Вдоль по берегу, вправо и влево, видать остатки древняго городища, когда-то здѣсь расположеннаго: низкія кирпичныя стѣны съ сохранившимися кое-гдѣ бойницами... Онѣ сплошь обросли мохомъ, а изъ иныхъ щелей и расщелинъ поднялись красивыя молодыя березы и елки. Я, сестра моя Франя и наша гувернантка пани Эмилія любили бродить между развалинами. Онѣ поднимаются отъ берега высоко по горѣ и завершаются на ея вершинѣ тремя черными толстыми стѣнами: на одной и теперь еще можно разглядѣть сквозь грязь и копоть, остатокъ фрески — ангела съ мечомъ. Вблизи стѣнъ валяется много могильныхъ плитъ съ латинскими надписями. На нѣкоторыхъ видны изсѣченные кресты, на другихъ короны и митры, а на иныхъ даже грубыя рельефныя изображенія людей въ церковномъ облаченіи. Когда-то здѣсь стоялъ бернардинскій монастырь, зависимый отъ нашего рода, покровительствуемый нами. Онъ упраздненъ въ прошломъ вѣкѣ. Во время втораго повстанія руины служили пріютомъ для небольшой банды: поэтому русскія пушки помогли времени въ разрушительной работѣ надъ осиротѣлымъ зданіемъ и сразу его покончили.

Какъ вы уже слышали, мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ. Я была очень хороша собою — не то, что теперь. Давно-ли, кажется, мой отецъ, когда бывалъ въ духѣ, владѣлъ на мою русую голову свои руки и декламировалъ съ комической важностью знаменитые стихи нашего безсмертнаго поэта:

... Nad wszystkich ziem branki, miłsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak młode koteczki,
Lice bielsze od mleka, z czarną rzesą powieka,
Oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki *).

А какъ-то на дняхъ я посмотрѣлась въ зеркало: я-ли это? Костлявое, зеленое, словно обглоданное лицо; подъ глазами на вискахъ провалы, челюсти выдались; уши стали большія и блѣдныя. Какъ я гадка!

Онъ довелъ меня до этого. Онъ—странное, непонятное существо, ни человекъ, ни демонъ, ни звѣрь, ни призракъ... онъ, ежедневно налагающій на меня свою тяжелую руку; онъ, въ чьей губительной власти моя душа и тѣло; онъ, кого я днемъ боюсь и ненавижу, а ночью люблю всею доступной моему существу страстью; онъ, неумолимо ведущій меня къ скорой ранней смерти... Ахъ! да что мнѣ болѣзнь, безуміе, смерть! Никакой ужасъ видимаго міра не испугаетъ меня. Все, что люди зовутъ несчастіемъ, кажется мнѣ и слабымъ, и ничтожнымъ, когда я сравню ихъ представленія съ тайнами моей жизни... А все-таки порою я со стыдомъ увѣряюсь, что тайны эти дороги мнѣ, какъ сама я, и лучше мнѣ съ жизнью разстаться,—только-бы не съ ними! Индусамъ любо погибать подъ тяжелыми колесами гордой повозки божественнаго Яггернаута: моя безпощадная судьба катитъ на меня грохочущую колесницу смерти, управляемую *Имъ*, и у меня нѣтъ ни силы, ни воли посторониться, и я чуть не съ сладострастнымъ трепетомъ жду момента, когда пройдутъ по мнѣ губи-

*) Нѣтъ на свѣтѣ царицы краше польской дѣвицы:

Весела, что котенокъ у печки,
И, какъ роза, румяна, а бѣда, что сметана,
Очи свѣтятся, будто двѣ свѣчки.

(Пушкинъ и Мицкевичъ, «Три Будрыса»).

тельные колеса. Может быть, въ этомъ-то и заключается мое помѣшательство.

Зачѣмъ бишь я рассказывала вамъ про старое бернардинское кладбище? Да!.. вѣдь, именно тамъ - то я и встрѣтила его впервые, тамъ и началось это... А какъ? Постойте... тутъ у меня темно въ памяти...

Зачѣмъ я взошла на гору, что тамъ искала, — право, не припомню, да это и не важно: такъ, нечаянно, безъ цѣли взошла. Наступалъ закатъ; большое, багровое солнце плыло надъ западными холмами: подъ его косыми лучами развалины словно нарумянили свои морщины и позолотили облѣпившій ихъ сѣдой мохъ. Я стояла между двумя молодыми тополями и думала: напрасно я отбилась на прогулкѣ отъ Франи и гувернантки; пани Эмилія будетъ на меня сердиться, и мнѣ надо поскорѣе ихъ найти. Тутъ я замѣтила, что я не одна на горѣ; на разбитой плитѣ у западной стѣны разрушеннаго костела сидѣлъ человекъ.

Онъ удивилъ меня: кругомъ на нѣсколько десятковъ верстъ я знала всѣхъ, кто носилъ панское платье, — а эту длинную худощавую фигуру, одѣтую въ старомодный черный сертукъ, съ долгими полами, я никогда не встрѣчала; лицо незнакомца было затемнено надвинутой на брови шляпой — тоже устарѣлой моды — въ формѣ узкаго высокаго цилиндра. Онъ сидѣлъ, далеко вытянувъ передъ собой худыя ноги въ дорожныхъ сапогахъ съ отворотами; его руки, какъ плети, — висѣли, безсильно опущенныя на плиту. Въ позѣ фигуры незнакомца было нѣчто неустойчивое, непрочное, что неприятно дѣйствовало на глазъ, но чѣмъ именно, — объяснить вамъ не умѣю. Я рѣшила что это какой-нибудь туристъ, — они иногда заглядываютъ въ наши края, — и изъ любопытства стала слѣдить за нимъ. Онъ не замѣчалъ меня — по крайней мѣрѣ, нѣсколько минутъ онъ ни

однимъ движеніемъ не проявилъ признаковъ жизни. Солнце зашло. Когда красный шаръ ушедшаго спать свѣтила совсѣмъ растаялъ на границѣ неба и земли, незнакомецъ ожилъ. Онъ пошевелился, потянулся, какъ только что пробудившійся человѣкъ, глубоко вздохнулъ и хотѣлъ подняться съ мѣста, но не могъ и снова опустился на плиту. Тогда онъ опять вздохнулъ и, опершись на камень руками, откинулся на спину, потомъ наклонилъ туловище обратно къ коѣнамъ, качнулся вправо, качнулся влѣво—словно хотѣлъ размять затекшіе отъ долгаго неподвижнаго сидѣнія члены и ради того дѣлалъ гимнастику. Эти упражненія выходили у незнакомца такъ легко, точно онъ совсѣмъ не имѣлъ костей. Качался онъ долго, и чѣмъ далѣе, тѣмъ быстрѣе. Неумоимость и чудовищная гибкость незнакомца сперва изумляли меня, потомъ стали смѣшить... Мнѣ захотѣлось разглядѣть чудака поближе. Я сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ, и теперь стала уже прямо противъ него, въ какой нибудь сажени разстоянія, но онъ на меня все-таки не обратилъ вниманія. Когда-же я сбоку заглянула въ его лицо, то смѣхъ мой, уже готовый слетѣть съ губъ, застылъ: у незнакомца были закрыты глаза, а на желтомъ немолодомъ уже, но безбородомъ и безусомъ лицѣ его лежало выраженіе человѣка, спящаго крѣпкимъ, но мучительнымъ сномъ, полнымъ тяжелыхъ грезъ и видѣній,—сномъ, отъ котораго хочется всей душою, но нѣтъ силъ пробудиться. Контрастъ соннаго лица съ подвижностью туловища незнакомца былъ страненъ и жутокъ. Страхъ обуялъ меня; я вскрикнула.

Въ тоже мгновеніе незнакомецъ пересталъ качаться, какъ будто остановленный невидимой рукой. Щеки его задрожали, глаза медленно открылись и вонзились въ мое лицо внимательный, острый взглядъ. Они были почти

круглые, свѣтлокаряго, чуть не желтаго цвѣта, какъ у совы или кошки, и горѣли тѣмъ-же хищнымъ и хитрымъ огнемъ. Подъ взглядомъ ихъ я будто вросла въ землю—ноги меня не слушались и не хотѣли бѣжать, хотя паническій страхъ, внезапно внушенный мнѣ пробужденіемъ страннаго созданія, громко требовалъ того. Безсознательно я устала свои глаза прямо въ глаза незнакомца, и тотчасъ-же мнѣ почудилось, будто своимъ неприятнымъ взоромъ онъ проникъ мнѣ глубоко въ душу, читаетъ въ ней, какъ въ книгѣ, и по праву властенъ надъ нею. Между тѣмъ, проклятые глаза расширились, округлились еще больше, сдѣлались яркими, какъ свѣчи... въ нихъ явилось что-то манищее, зовущее и повелительное; я инстинктивно чувствовала, какъ опасно мнѣ подчиняться этому зову, какъ необходимо напрячь всѣ силы души, чтобъ отразить его побѣдоносное вліяніе, и въ то же время не находила такихъ силъ: сознаніе протестовало и возмущалось, а воля была какъ скованная, не слушалась сознанія. Это было похоже на летаргію.

Незнакомецъ медленно простеръ ко мнѣ руки и трижды потрясъ ими въ воздухъ, — и я противъ воли сдѣлала то же. Затѣмъ онъ сталъ приближаться ко мнѣ, и съ каждымъ его шагомъ я тоже дѣлала шагъ на встрѣчу ему, такъ-же, какъ онъ, съ вытянутыми предъ собою руками, подражая каждому его движенію. Страхъ мой, по мѣрѣ приближенія страннаго существа, замиралъ, переходя постепенно въ чувство новаго для меня — и мучительнаго, и пріятнаго вмѣстѣ — безпокойства, томившаго меня и счастьемъ, и тоскою. Мы шли, пока не встрѣтились лицомъ къ лицу, грудь къ груди. Руки незнакомца опустили мнѣ на плечи, голова моя упала ему на грудь — мнѣ показалось, что кровь въ моихъ жилахъ превратилась въ кипятокъ и понеслась

въ моемъ тѣлѣ разъяреннымъ горячимъ потокомъ, стремясь вырваться на волю, либо задушить меня. То былъ непостижимый приливъ невѣдомой страсти, и если я любила кого либо больше себя, свѣта, жизни, такъ именно этого незнакомаго человѣка въ эти таинственныя минуты сладостнаго безумія.

Я очнулась въ своей комнатѣ, окруженная хлопотами родныхъ. За часъ предъ тѣмъ меня нашли у воротъ нашего дома, безъ чувствъ.

Человѣкъ, въ чью жизнь непрошено-негаданно врывается чудесное начало, всегда бываетъ подавленъ и угнетенъ; быть его рѣзко и грубо выбивается изъ русла своего теченія наплывомъ совсѣмъ новыхъ чувствъ, думъ, ощущеній и настроеній. Какъ будто показанъ вамъ уголокъ чужого міра и столько непривычныхъ впечатлѣній ворвалось изъ этого уголка въ умъ и душу что за пестротой и роскошнымъ разнообразіемъ ихъ не осталось ни охоты къ сѣрой обыденной дѣйствительности, ни надобности въ ней. Вы видѣли сонъ, убившій для васъ правду жизни, охвачены грезой, сдѣлавшейся для васъ большею потребностью, чѣмъ ѣсть, пить, вамъ показано призрачное будущее, и стремленіе къ нему давить въ вашемъ сердцѣ всѣ желанія и страсти настоящаго, память прошлаго. Въ этомъ неопредѣленномъ тоскливомъ стремленіи вы будете безотчетно рваться къ чему-то, а къ чему, — сами не знаете, но невѣдніе цѣли не остановитъ васъ, а еще больше подстрекнетъ, разгорячитъ и, въ упорной погонѣ за мечтой, мало-помалу окончательно оторветъ отъ жизни. Существованіе человѣка, ступившаго одной ногой за порогъ естественнаго, превращается въ сплошной экстазъ, въ безумную смѣсь хандры и паэоса, восторговъ и отупѣнія... Все становится презрѣннымъ и излишнимъ, нужною остается только озадачившая воображеніе тайна.

Такъ было со мною. Моя веселость пропала, моя жизнь погасла. Молча, запершись въ самой себѣ, влачила я свое существованіе послѣ вечера на горѣ, свято вѣруя, что предо мною прошло существо иного міра... во снѣ или на яву?—что мнѣ за дѣло?.. Повторяю: въ часы мучительныхъ раздумій мои желанія такъ часто мѣнялись, такъ часто отъ проклятій *ему* я переходила незамѣтно къ сладкимъ мечтамъ *о немъ*; и мнѣ то хотѣлось, чтобъ *онъ* не существовалъ, былъ лишь причудливымъ призракомъ лихорадочнаго сна, то я жаждала видѣть его, какъ нѣчто дѣйствительное, хотя и непостижимое; способное являться очамъ живого человѣка, умѣющее любить, могущее быть любимымъ. Когда приближался вечеръ, я дѣлалась сама не своя. Мнѣ надо было бороться съ собою, какъ съ лютымъ врагомъ, чтобы не покориться таинственному могучему зову, доносившемуся ко мнѣ откуда-то издалека и манившему меня... я знала куда: на гору, къ западной стѣнѣ. Но я не шла. У меня еще была кое-какая воля, и оставалось сознанія настолько, чтобы чувствовать въ роковомъ зовѣ нѣчто чуждое человѣку, волшебное и преступное. Въ такіе часы я забивалась въ какой-нибудь уединенный уголокъ и, со страшно бьющимся сердцемъ, трясясь всѣмъ тѣломъ, стуча зубами, какъ въ лихорадкѣ, читала молитвы и ждала,—авось отлягутъ, отъ души отхлынуть смутныя грезы.

Я не пошла навстрѣчу къ *нему*, — тогда *онъ* пришелъ за мною. Въ одну ночь я проснулась какъ будто отъ электрическаго удара, и первымъ, что я увидала, были два знакомые мнѣ огненные кошачьи глаза. Лица *его* не было видно; глаза казались поэтому врѣзанными прямо въ стѣну и долго смотрѣли на меня, не мерцая и не мигая. Я даже не успѣла испугаться: такъ быстро охватило меня уже испытанное оцѣпенѣніе... Тогда *онъ*

отдѣлился отъ стѣны, словно прошелъ сквозь нее, наклонился надо мною, и я снова впала въ тотъ сладкій обморокъ, что охватилъ меня на горѣ.

Мнѣ снились переливы торжественной музыки, похожіе на громовые аккорды исполинскихъ арфъ, перекликавшихся въ необозримыхъ пространствахъ. Звуки поднимали и уносили меня вверхъ, какъ крылья. Кругомъ все было голубое, и въ безбрежной лазури колыхались предо мною какіе-то не то птицы, не то ангелы—созданія съ громадными бѣлыми крылами, подвижныя и легкія, какъ пушинки при вѣтрѣ. Золотые метеоры сыпались вокругъ меня. Сверху, помогая и отвѣчая арфамъ, гудѣлъ серебряный звонъ—и я купалась въ морѣ красокъ и звуковъ. То было недосыгаемое, неземное блаженство—спокойное, теплое, свѣтлое—и я думала: „какъ хорошо мнѣ, и какъ я счастлива!“ Въ это время что-то больно укололо меня въ сердце... Я вскрикнула, свѣтлый міръ покрылся черной тьмой, будто въ немъ сразу потушили солнце, и я очнулась.

Заря глядѣла ко мнѣ въ окно. Я была одна.

Съ тѣхъ поръ каждую ночь я видѣла *его*, и каждую ночь уносили меня куда-то далеко отъ земли его объятья, и каждую ночь пробуждалась я одиноко отъ острого удара въ сердце. Дико и мрачно проводила я свои дни, выжидая ночи. Вялая, скучная, молчаливая, я возбуждала опасенія отца. Доктора нашли у меня малокровіе, начали поить желѣзомъ, мышьякомъ, какими-то водами. Скоро я сдѣлалась такъ слаба, что едва двигалась по комнатамъ, головокруженіе владѣло мною по цѣлымъ днямъ... я чувствовала, что еще мѣсяцъ, и я буду лежать на столѣ...

Мнѣ стало жаль моей молодой жизни, и я хотѣла спасти себя. Однажды я преодолѣла вліяніе моего врага: не поддавалась его оцѣпняющимъ глазамъ...

— Сжался, — простонала я, — кто-бы ты ни былъ, сжался и не губи меня... Твои ласки сжигаютъ меня. Я счастлива ими, но онѣ убійственны. Ты взялъ всю кровь изъ моего сердца. Взгляни, какъ я жалка и слаба.. Пощади меня—я скоро умру. И въ отвѣтъ я услышала впервые его голосъ — шумъ, похожій на шелестъ сухихъ листьевъ, взметенныхъ осеннимъ вихремъ.

— Не бойся умереть. Ты моя и соединена со мною. Ты не умрешь, какъ я, и будешь жить, какъ я. Ты поддержала мой непонятный тебѣ вѣкъ цѣною своей жизни, а потомъ ты, какъ я, пойдешь къ другому живому существу и сама будешь жить его жизнью. Какъ я, узнаешь ты холодные, безстрастные дни покоя и ничтожества; какъ мнѣ, улыбнутся тебѣ полные наслажденій и безумныхъ восторговъ вечера. Золотая луна будетъ тебѣ солнцемъ, и синяя ночь—бѣлымъ днемъ... Люби меня и не бойся умереть!

И въ первый разъ я почувствовала на своихъ губахъ его холодныя губы, и въ этомъ долгомъ поцѣлуѣ онъ выпилъ мою душу.

Больше мнѣ нечего рассказать вамъ, потому что на другой-же день отецъ, поговоривъ со мной, выслушавъ мои несвязные отвѣты на его простѣйшіе вопросы, со слезами вышелъ отъ меня... а я поняла, что меня считаютъ потерявшей рассудокъ. Меня увезли изъ замка, стали развлекать, показали мнѣ Европу... Напрасно! если меня не могутъ избавить отъ *него*, то незачѣмъ было и оставлять К.! ни путешествіе, ни лѣкарства, ни молитвы мнѣ не помогутъ!.. И кто-же въ силахъ прогнать *его*, таинственнаго, неуловимаго, никѣмъ кромѣ меня невидимаго? Никто!.. и я погибну его жертвой, и неземной страхъ охватываетъ меня, когда я припоминаю его темныя слова. „Ты будешь жить моею жизнью“... Что значитъ это? кто онъ?.. неужели-же народныя

сказки говорятъ правду, и онъ... о, нѣтъ, это было-бы слишкомъ ужасно! я не хочу, я не хочу... У меня нѣтъ силъ спросить у него прямого отвѣта; глаза его такъ жестоки, злобны и мстительны, когда хоть мысль о томъ мелькнетъ въ моемъ робкомъ умѣ...

Прощайте, однако. Солнце садится. Онъ приходитъ ко мнѣ всегда, какъ только погасаетъ послѣдній лучъ на куполѣ вонъ той большой церкви, и сердится, если застаётъ меня не одну. Уходите, пожалуйте меня. Я уже чувствую дыханіе вѣтра, предшествующаго его приближенію, и привычная дрожь пробѣжала, по моимъ членамъ. Сейчасъ вонъ тамъ въ углу засвѣтятся его ненавидные глаза ...Уходите! время!..

Вотъ онъ... идетъ... идетъ... идетъ...

ОБОЖАНІЕ.

(Со словъ институтки старыхъ годовъ).

Я родилась и выросла въ деревенской глуши, версть за триста отъ Петербурга. Какъ почти всегда бываетъ съ дѣтьми, рано лишившимися матери, воспитаніе мое шло безалаберно; мои опекуны—папа и тетя Елена Львовна Алимона, сестра покойной мамы, вѣчно спорили за меня, и то одинъ, то другая забирали меня въ свои руки. Благодаря ихъ пререканіямъ, я даже на десятомъ году не безъ запинокъ разбирала русскую печать, читала наизусть „Вѣрую“ и съ трудомъ выводила неуклюжія палки по красивымъ клѣткамъ тетради чистописанія, — тѣмъ и ограничивался кругъ моихъ научныхъ познаній. Къ чести тети Елены слѣдуетъ сознаться, что въ этомъ былъ виноватъ только отецъ, чудакъ-диллетантъ на всѣ руки, типичный романтикъ сороковыхъ годовъ. Смерть жены сдѣлала его педагогомъ поневолѣ, и онъ создалъ для меня свою собственную систему воспитанія — фантастическую и безпорядочную. Непосредственное самостоятельное развитіе ощущеній было его девизомъ. Тетя Елена—прекрасный образецъ строгаго домашняго воспитанія въ англійскомъ духѣ—возмущалась образовательными идеями папы, и между моими опекунами происходили любопытныя столкновенія. Моимъ нянькамъ рѣзко доставалось отъ тети за сообщен-

ныя мнѣ сказки, суевѣрныя побасенки, примѣты, а папа подарилъ мнѣ первой книгой „Тысячу и одну ночь“, читалъ мнѣ вслухъ „Освобожденный Іерусалимъ“ и „Неистоваго Роланда“. Тетя была очень религіозна и требовала отъ меня строгаго исполненія церковныхъ обрядовъ. Папа видѣлъ въ этомъ нравственное насиліе, кричалъ, что не позволить сдѣлать изъ своей дочери ханжу; впрочемъ, гнѣвъ его разбивался объ упорство Елены Львовны, какъ о каменную стѣну, и я по-прежнему аккуратно ходила въ церковь и не смѣла ложиться спать, не прочитавъ предъ молитвой главу изъ евангелія. Я любила тетю, но ея сдержанность, наружная суровость, мало говорили дѣтской душѣ, а папа до сѣднѣ сохранилъ неогнѣнную способность быть, — не казаться, а именно быть, — ребенкомъ съ дѣтьми, юношей съ молодыми людьми. Вліяніе его на меня не знало границъ. Одиннадцати лѣтъ я была уже достойной дочерью фантазера-романтика, къ полному отчаянію тети Елены, которая не уставала повторять, что я расту „совсѣмъ какъ мальчишка, да и мальчишка-то забалмошный“.

Отецъ любилъ находить меня похожей на себя; тетя Елена утверждала, будто я „вся въ Лидію“, т. е. въ покойницу-мать. Последнее, кажется, вѣрнѣе, хотя я никогда не была больше, чѣмъ недурна собой, а мама считалась красавицей, и въ свое время была отмѣчена петербургскимъ большимъ свѣтомъ не только какъ урожденная Алимова — дочь и наслѣдница удаленнаго Императоромъ Николаемъ александровскаго вельможи и мистика, не безъ значенія въ лабзинскомъ кружкѣ. Лидіи представлялись блестящія партіи, и неожиданный бракъ ея съ „какимъ-то“ Рахмановымъ, — правда, обломкомъ старой хорошей фамиліи, но въ то время захудалымъ обладателемъ маленькаго имѣнія и большихъ долговъ —

въ настоящемъ, геттингенскаго студенчества — въ прошломъ и воздушныхъ замковъ — въ будущемъ, — не мало удивилъ и общество, и родню. Свадьба совпала съ катастрофой Петрашевскаго. У отца были друзья между заговорщиками. Бракъ съ дочерью Алимова спасъ папу отъ неприятностей, но ему посовѣтовали оставить столицу. Супруги безвыѣдно прожили въ деревнѣ до воцаренія Императора Александра, когда отцу дозволено было возвратиться въ Петербургъ; мама не дождалась этого: она умерла родами тою-же зимою, подаривъ жизнь мнѣ, своему первому и послѣдному дѣтищу.

Незадолго до того, какой-то художникъ-диллетантъ, старый знакомый мамы, нарисовалъ ея портретъ. Какое удивительное, трагическое лицо! Блѣдное, нервное, съ тонкимъ профилемъ, оно словно застыло, замерло, сосредоточивъ всю жизнь въ глазахъ, полныхъ молитвеннаго пламеннаго экстаза. Видно, что страстная и порывистая душа жила въ хрупкой и изящной оболочкѣ этого тѣла.

Отецъ не любилъ разспросовъ о мамѣ, но отъ знакомыхъ, прислуги и кое-кого изъ родныхъ я получила въ разное время много странныхъ свѣдѣній.

Еще въ институтѣ мама пугала своихъ товарокъ истериками, бредомъ, проявленіемъ сомнамбулизма, а больше всего религиозными галлюцинаціями. То слышались ей голоса въ воздухѣ, то чудилась кровь въ язвахъ распятаго Христа. Институтское начальство ласкало маленькую Алимову ради ея отца, но опасалось ея вліянія на подругъ. Директрисса считала своимъ долгомъ, по крайней мѣрѣ, два раза въ недѣлю освѣдомляться у надзирательницъ: „а что Алимова?“ — и почти всегда приходилось почтенной дамѣ выслушивать обстоятельный докладъ о какой-нибудь новой продѣлкѣ, перещеголявшей дивостью замысла всѣ прежнія затѣи

странной дѣвочки. Въ четырнадцать лѣтъ мама казалась совсѣмъ взрослой дѣвушкой.

Религіозное увлеченіе смѣнилось обычными институтскими шалостями и неразрывной дружбой съ одной изъ старшихъ воспитанницъ. Эта дѣвушка, болѣзненная и некрасивая, почти уродъ, злая и въ корень испорченная, имѣла безграничную власть надъ мамой. Ихъ дружба была рабской цѣпью жертвъ, слезъ, ласкъ со стороны мамы, — рядомъ грубостей, деспотическихъ вымогательствъ и уловокъ со стороны ея подруги. Когда божеество мамы было довольно своей поклонницей, то награждало ее какимъ-нибудь моднымъ французскимъ романомъ. Чатать можно было только тайкомъ, въ ночной тиши дортуара. Впослѣдствіи мама признавалась, что погубила свое зрѣніе за романами Дюма и Дарленкура.

Слушая рассказы о мамѣ, я не разъ ловила себя на мысли: „а, вѣдь, не будь папа замѣшанъ въ политическомъ преступленіи, меня, пожалуй, не было-бы на свѣтѣ“. Это, пожалуй, правда. Мама въ первую-же зиму своихъ выѣздовъ стала звѣздой сезона, вскруживъ головы половинѣ львовъ Петербурга. Граціозной дѣвушкой съ характеромъ маленькаго бѣсенка не для чего было проходить науку тонкаго кокетства: первая-же мазурка показала мамѣ, какую власть можетъ она имѣть надъ мужчинами. Выдохшіеся Печорины сороковыхъ годовъ одинъ за другимъ находили себѣ гибель въ ея бархатныхъ, кошачьихъ лапкахъ; она умѣла вить веревки изъ этихъ надменныхъ карликовъ на гигантскихъ ходуляхъ. И вдругъ эта гордая, избалованная красавица останавливаетъ свой выборъ на самомъ скромномъ и непритязательномъ изъ членовъ влюбленной въ нее толпы. Если искать въ литературѣ портретъ папы, то послѣ пушкинскаго Ленскаго указать не на кого. Развѣ могъ Ленскій показаться интереснымъ страстной, жаждущей

новости, дѣвушкѣ, да еще въ обществѣ, гдѣ вымирающіе Онѣгини съ иронической улыбкой сторонились передъ молодыми Рудиными? У отца было славное, честное лицо, но онъ далеко не могъ назваться красавцемъ. За то молодого Рахманова считали „краснымъ“. Я увѣрена, что когда мама стояла подъ вѣнцомъ, въ ея экзальтированной головкѣ мелькали раздушенные заговорщики изъ „Cinq-Mars“...

Послѣ брака маму постигло полное разочарованіе. Недавній заговорщикъ оказался очень смиреннымъ человекомъ и добродушнѣйшимъ помѣщикомъ. Онъ по цѣлымъ днямъ сидѣлъ въ своей библиотекѣ, переписывался съ петербургскими друзьями о Гегель, изучалъ Винкельмана и переводилъ „Фауста“ Гете. Мама скучала съ мужемъ, — папа былъ не по ней. Въ его любви, тихой и беззавѣтной, было черезчуръ много платонизма для такой женщины. До моего рожденія у нихъ не было дѣтей, что также способствовало послѣдовательному отчужденію супруговъ другъ отъ друга. Каждый новый день неудачнаго супружества былъ какъ для мужа, такъ и для жены новымъ шагомъ къ сознанію безцѣльности и безмысленности ихъ союза. Обоимъ было не то жалко, не то совѣстно другъ-друга: казалось, какая-то колоссальная ложь легла пропастью между супругами, и они не могли рѣшить, кто изъ нихъ двоихъ больше виноватъ въ этомъ взаимномъ невольномъ обманѣ.

Въ деревенскомъ одиночествѣ странности экзальтированной институтки перешли въ настоящіе припадки душевной болѣзни. Раза два-три въ году мамой овладевали порывы бѣшеной веселости; она развертывалась безъ удержа. По всему уѣзду рассылались приглашенія. Домъ переполнялся гостями, начинались вечеринки, пикники, катанья. Безпутная губернская молодежь не стѣснялась въ ухаживаньи за красавицей-хозяйкой, поль-

зуюсь ея аффектомъ, чтобъ обратить домъ въ шумный ресторанъ, гдѣ самыя вольныя, безцеремонныя шутки раздавались съ утра до ночи подъ неестественный смѣхъ больной женщины. Рѣдкіе относились къ ней хоть съ малымъ уваженіемъ, но мамѣ было все равно: она не могла и не хотѣла остановиться; папа выходилъ изъ себя, дѣлалъ сцены, пока не убѣдился въ полной непроизвольности этихъ дикихъ выходокъ... Пробовали лѣчить маму, но оставить провинцію было невозможно, а мѣстная врачебная помощь оказалась бессильною. Папа махнулъ рукой и далъ женѣ полную волю.

Затѣмъ начиналась реакція: хандра, паническій страхъ, галлюцинаціи... Мама запиралась въ своей спальнѣ, не допуская къ себѣ никого, кромѣ своей любимой горничной; то былъ періодъ какого-то столбняка: больная задумывалась по цѣлымъ часамъ, не замѣчая уходящаго времени, почти не мѣняя первой принятой ею позы. Въ эти мучительные часы папа не отходилъ отъ дверей спальни, съ трепетомъ дожидаясь пронзительнаго крика, знакомаго предвѣстника истерики... Начинаясь страшный припадокъ. Съ пѣной у рта, перегнутая конвульсіями, больная кричала, плакала, пѣла, смѣялась, мѣшая церковныя напѣвы съ животными криками, стихи евангелія—съ площадными ругательствами, угрозы и жалобы—съ нахальными признаніями въ отвратительныхъ, выдуманыхъ на себя преступленіяхъ. Все святое и все низкое, цѣлыми мѣсяцами безвыходно копившееся въ душѣ несчастной, находило въ этомъ негѣпомъ бредѣ свое беспорядочное выраженіе.

II.

Меня опредѣлили въ тотъ-же самый институтъ, гдѣ училась когда-то мама. Тетя Елена напомнила старой

директриссѣ ея бывшую воспитанницу, — старуха поморщилась.

— Похожа на мать... Тоже съ фантазіями? — спросила ова, щури на меня свои близорукіе глаза. Тетя улыбулась:

— Немножко есть...

Директрисса неодобрительно сдвинула свои сѣдые брови. Черезъ годъ она писала тетѣ: „ваша племянница — первая ученица въ классѣ и ведетъ себя прекрасно: ни одной шалости, ни одного протеста. Мы ею не нахвалимся, ставимъ ее въ примѣръ другимъ. Но, извините меня, я все-таки не рѣшаюсь довѣриться этому смиренію и не могу примириться съ мыслью, чтобы въ дочери Лидіи Алимовой не сказалась алимовская кровь. Не нравится мнѣ также, что ваша Людмила черзчуръ серьезна, почти скучна и сторонится отъ подругъ, хотя между ними много очень и очень достойныхъ дружбы дѣвочекъ, и всѣ ее любятъ“.

При всемъ желаніи вспомнить что-либо занимательное изъ институтскаго періода своей жизни, ничего не нахожу характернаго. Мнѣ кажется, что мы, маленькія институтки, всѣ, отъ первой до послѣдней, какъ двѣ капли воды, похожи другъ на друга своимъ нравственнымъ обликомъ: словно за стѣнами закрытаго учебнаго заведенія самыя души воспитанницъ надѣвають узаконенную форму. Дни проходили нескучно и невесело. Теперь мой четырехлѣтній курсъ представляется мнѣ какимъ-то длиннымъ, вялымъ, блѣднымъ сномъ, въ которомъ самымъ интереснымъ моментомъ было пробужденіе. Я съ самаго вступленія до послѣдняго дня шла первой ученицей: мнѣ говорили комплименты педагоги; моей „учености“ удивлялись подруги; меня представляли всѣмъ почетнымъ посѣтителямъ, въ перспективѣ меня ждалъ шифръ. Но я не кончила курса.

Пятнадцать лѣтъ, уже въ предпоследнемъ классѣ, я влюбилась... Да, именно влюбилась: иначе я не могу назвать чувство, какимъ завершилось мое институтское обожаніе Липы Станицевой. Липа была всего классомъ старше меня, но въ лѣтахъ мы разнились года на три. Обожаніе Липы было у насъ какой-то повальной болѣзью. Хорошенькая княжна Нина Чаагадзе носила на своемъ плечикѣ глубоко вытравленный вензель Станицевой. Юлинька Крахтъ цѣлый годъ не полакомилась ни одной конфеткой, не раздѣливъ ее съ Липой, а маленькая Ольга Худая въ любовномъ письмѣ къ „обожаемому кумиру“ клялась выпить цѣлую бутылку уксуса и тѣмъ погубить себя навѣки, если Липа не будетъ „отвѣчать“ ей. Вообще сколько глупостей мы дѣлали, чтобы заслужить благоволеніе нашего идола, какъ эксплуатировали въ ея интересахъ нашихъ собственныхъ обожательницъ, — рассказать трудно. Къ чести Липы, надо сознаться, что она была очень добрымъ божествомъ: кромѣ съдобныхъ, никакихъ жертвъ не требовала и даже сдерживала особенно ярыхъ служительницъ своего культа. Всѣ дикія выходки были плодами нашего собственного усердія: сдѣлаетъ одна глупость, — а мы всѣ стараемся превзойти ее, какъ неразумное стадо. Я хорошо помню, что въ тотъ годъ только и думала: что-бы мнѣ еще сдѣлать для Липы? чѣмъ бы перещеголять всѣхъ этихъ Чаагадзе, Крахтъ и Худыхъ съ ихъ укусными бытылками и клейменными плечами? Принять бы на себя какуюнибудь шалость Липы, да она была еще скромнѣе меня въ поведеніи и тоже считалась „parfaite“.

— Дурочка, зачѣмъ ты это все дѣлаешь? кому это нужно?—изумлялась Липа при каждой новой дикости.

— Ахъ, Липа! Ты не понимаешь: мнѣ за тебя пострадать хочется.

— Да зачѣмъ?

— Зачѣмъ? Какая ты странная!.. Я не знаю зачѣмъ, но это такъ удивительно пріятно пострадать.

Шла пятая недѣля великаго поста. Мы говѣли. Всѣ мы трусили исповѣди, а Липа—больше всѣхъ. Всю недѣлю она приставала къ подругамъ:

— Милыя, голубушки, помяните меня, когда молиться станете. Вы всѣ добрыя, хорошія, васъ Богъ послушаетъ... Душки, помолитесь!

Въ среду, утромъ, надзирательница, войдя въ нашъ дортуаръ, нашла постель Юлиньки Крахтъ пустою, а самой дѣвочку—въ углу на колѣняхъ передъ образомъ. Юлинька ухитрилась цѣлую ночь простоять на молитвѣ „за рабу Божию Олимпиаду“. Это было противъ правилъ, но наказывать Юлиньку не пришлось: отъ усталости или отъ экзальтаціи у нея началась лихорадка. Липа была очень тронута, совсѣмъ забыла про всѣхъ насъ и выпросилась у инспектриссы въ лазаретъ, чтобы быть вмѣстѣ съ Юлинькой. Я не снесла такого пренебреженія и сдѣлала Липѣ спену.

— Ты не любишь меня, Липа!

Она нетерпѣливо пожала плечами.

— Ахъ, отстань, глупая! Не любишь, да не любишь! заладила одно; сколько разъ говорить тебѣ, что люблю?!

— Да не такъ, какъ Юлиньку.

— Юлинька... Юлинька... вонъ что для меня сдѣлала. Она больная лежитъ, — задумчиво пробормотала Липа.

III.

Тою-же ночью, когда замолкли послѣдніе звуки институтской жизни, въ нашемъ дортуарѣ, на койкѣ № 7, вынырнула изъ-подъ одѣяла маленькая кудрявая голов-

жа и любопытными возбужденными глазками осмотрѣлась кругомъ. Всѣ спать, ничего не слышно, кромѣ мѣрнаго дыханія подругъ. Дѣвочка тихо поднялась и сѣла на кровати... Тс-с... шопоть?.. Нѣтъ: ложная тревога. Это классная дама Амалія Карловна говоритъ во снѣ. Ножка дѣвочки безшумно касается холоднаго пола... Наклонивъ станъ, бѣглянка осторожно, какъ дикій звѣрокъ, крадется къ выходу. Она гнется въ уровень съ кроватями, крѣпко хватаясь за ихъ массивныя рѣзныя спинки; передъ каждымъ шагомъ нога долго виситъ въ воздухѣ, а голова занята мыслью: хрустнетъ или не хрустнетъ ступня, когда всей тяжестью упрется на нее тѣло? Хрустнула!.. Бѣглянка присѣла, затаила дыханіе... Ай, какой рѣзкій звукъ! Какъ это его не слышно днемъ?.. Еще мучительный шагъ, другой... и дѣвочка у двери. Стоя бѣлымъ привидѣніемъ у притолки, она обводитъ глазами дортуаръ, силясь различить въ полумракѣ лица товарокъ. Кто лежитъ на боку, кто свернулся калачикомъ, та съ головкой ушла подъ одеяло... Что это? Зина Штакельбергъ повернулась во снѣ, бормочетъ что то, закинула за голову руки. Проснулась или нѣтъ? Видитъ? Если видитъ, — зачѣмъ не окликаетъ? Куда итти? Впередъ? А если она не спитъ?.. Зина!.. Не слышитъ, что-ли? Зина! — неожиданно громко раздается шопоть второго оклика... Амалія Карловна шевельнулась во снѣ... Бѣглянка, не скрипнувъ даже дверью, легче пуха вылетѣла въ коридоръ...

Нужно-ли говорить, что эта дѣвушка была я? Въ годовѣ моей зрѣлѣ планъ сумасброднаго предпріятія: я рѣшила пробраться въ нашу домовую церковь и тамъ молиться до утра за мою дорогую Липу.

Очутившись въ полутемномъ коридорѣ, я отбѣжала сажени три четыре отъ дортуара, прежде чѣмъ остано-

вилась прислушаться. Только одинъ, звукъ, слабый, глухой, но частый и порывистый, раздавался въ мертвомъ молчаніи коридора: біеніе моего сердца. Впередь!.. Рѣдко развѣшанные ночники слабо мерцали надъ дверьми дортуаровъ... Я четвертый годъ знала, что ихъ восемь, но теперь снова пересчитала эти огоньки. Каждый изъ нихъ олицетворялъ для меня спавшую подъ его охраной дежурную.

Я нарочно пошла легкимъ, свободнымъ шагомъ, удерживаясь отъ скачковъ, въ которымъ побуждалъ холодный полъ мои необутыя ноги. Слава Богу! На цыпочкахъ прокралась мимо Леопольдины Васильевны, на четверенькахъ переползла порогъ Августины... Остальные не страшны: у нихъ, говорятъ, сонъ хорошій, крѣпкій! Двадцать ступенекъ внизъ, во второй этажъ, по темной, широкой лѣстницѣ, — я долго нащупывала перила, — и я почти у цѣли.

Освѣщенные сверху красноватымъ пламенемъ лампы, ласково улынулись мнѣ съ расписныхъ дверей церкви бѣлокурые ангелы, словно приглашали войти. Я надавила ручку: напрасно! Двери заперты на замокъ! Я въ изнеможеніи опустилась на полъ. Неудача сразу убила во мнѣ недавнее нервное напряженіе. Чувство горькой обиды вставало въ душѣ. Зачѣмъ - же ты шла сюда? За что рисковала? Какъ можно было зафантазироваться до того, чтобы позабыть самое главное, — что церковь заперта ночью?..

Я горько заплакала, кусая руки отъ стыда и досады.

— Господи! помоги мнѣ... сотвори чудо! Отворите мнѣ, ангелы святые! Я вѣрую... вы все можете...

Чуда не было. Часы, гдѣ-то далеко-далеко, медленно и хрипло пробили два удара.

Сейчасъ обходъ... Меня застанутъ... исключать.

Эта ужасная мысль въ первый разъ пришла мнѣ въ голову.

— Да за что-же? Вѣдь, я только помолиться пришла... Да, а въ какомъ я видѣ? Полунагая... ночью! Эхъ, Липа! Боже мой!.. Да спасите-же меня, ангелы святые!

Полная почти животнаго страха, я всѣмъ тѣломъ ударилась въ двери. Гулко отозвалась мнѣ пустая церковь. Я машинально подобрала кусочки отвалившейся рѣзьбы. Въ головѣ мутилось. Отчаяніе меня душило, и отъ сердца что-то противное, теплое поднималось все выше и выше къ горлу. Я взглянула на ангеловъ; злою, насмѣшливой показалась мнѣ теперь ихъ небесная улыбка...

„Что? не вошла? не можешь? Слабая! жалкая! грѣшная!“—казалось, говорили они.

Сверху, еще далеко, въ трубѣ коридора слышались легкіе женскіе шаги. Тысячами рѣзкихъ монотонныхъ стуковъ отозвались они въ моихъ вискахъ. Сердце у меня разорваться хотѣло. Какъ быстро думаешь въ минуты опасности! Последнимъ взоромъ окинула я церковныя сѣни и... нашла спасеніе!

Окна храма только до половины были защищены рѣшетками. Въ одной рамѣ не доставало — и именно сверху—двухъ стеколъ...

— Высоко... рискъ великъ. Пробовать, или нѣтъ? Шаги все близились... лучъ свѣта упалъ на лѣстницу.

Никогда, не вспомню и не пойму я, какъ очутилась въ храмѣ.

Когда, послѣ того, я снова получила способность сознать себя,—я была въ темной ризницѣ. Изъ окна мнѣ видно было, какъ послѣдовательно освѣщались и снова темнѣли окна длиннаго институтскаго корпуса: это обходъ двигался. Вотъ потемнѣло и послѣднее окно... Спасена! Завтра—будь, что будетъ: по крайней мѣрѣ, потерплю за дѣло, по крайней мѣрѣ, добилась своего.

Чувство неизъяснимаго торжества наполняло меня

радостнымъ трепетомъ. Колумбъ, въ первый разъ ставя ногу на берега Америки, врядъ-ли переживалъ болѣе радостный, гордый моментъ, чѣмъ я, ошупью выбираясь изъ ризницы въ храмъ. Я долго искала ручку двери, безпрестанно натыкаясь на стѣны. Я ободрала себя кожу съ пальцевъ. На лбу также садилъ царапина. Я вся дрожала. Отъ оконъ несло мерзлой сыростью на мои открытыя плечи: перелѣзая черезъ рѣшетку, я въ влочь изорвала свою сорочку. Холодный плитнякъ потолка леденилъ мнѣ ноги. Я сознавала неизбежность серьезной простуды. Странно! это сознание было непріятно для меня только въ первый моментъ своего появленія.

— Что-жъ? Заболѣвать, такъ заболѣвать, какъ слѣдуетъ. Что-то скажете вы завтра, милая Юлинька? Большая важность не поспать, простоять ночку въ теплой комнатѣ, подъ бокомъ у Амаліи Карловны! А вы и отъ такихъ пустяковъ струсили до лихорадки. Поставить-бы васъ на мое мѣсто. Посмотрѣда бы я, какъ бы вы вспомнили о Липѣ! А я вотъ помню и иду за нее молиться. Боюсь... церковь, темнота, холодъ... боюсь, а все-таки иду! Васъ, Юлинька, за молитву блюда лишать, а меня изъ института могутъ выключить... Да и не лихорадочкой, пожалуй, заплатитъ придется!

Я выбралась въ храмъ. Здѣсь было совсѣмъ темно. Слабый свѣтъ неугасимой лампы ложился вокругъ иконы Богоматери и терялся въ сумракѣ притвора, выдѣляя по дорогѣ контуры нависшихъ надъ клиросами хоругвей, да уголь плащаницы. Мнѣ стало жутко. Стараюсь не покоситься на темную бездну притвора, я прошла къ амвону и опустилась на колѣни прямо противъ царскихъ дверей. Пресвятая Дѣва ласково взирала на меня изъ-подъ золотого вѣнца жалостливыми, за весь міръ скорбящими, материнскими глазами; сердцу больно и сладко становилось. Я тихо прошептала всѣ извѣстныя мнѣ молитвы и совсѣмъ успокоилась.

— Теперь за Липу... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, внемляй грѣхи міра! Помилуй и спаси рабу твою Олимпиаду.

Я положила земной поклонъ, какъ учила меня въ дѣтствѣ няня: глубокой и долгой,—такой долгой, что во время его я уже успѣла разсвѣять свое молитвенное настроеніе.

Сзади послышался слабый шорохъ, таинственный, какъ всякій звукъ въ величественной тишинѣ спящей церкви.

— Мыши? Конечно, мыши!... А, вѣдь, тамъ темно,—вдругъ кольнула меня трусливая мысль. Я рассердилась на себя за этотъ призывъ къ паникѣ и, не отрывая лба отъ пола, потрясла головой, стараясь приказать себѣ самой не слушать коварнаго голоса, но было поздно: онъ шепталъ уже, не смолкая:

— Право, темно! Какой вздоръ защищался разсудокъ:—темно, темно! Кому здѣсь быть? Сторожамамъ рано.—А ворамамъ?—Ворамъ! Здѣсь святое мѣсто...—Такъ, такъ... а все-таки сзади темно и что-то неладно! — полусоглашался голосъ, а самъ, какъ нарочно, несвязными обрывками подсказывалъ испуганному уму полузабытые эпизоды старыхъ, нелѣпыхъ, суевѣрныхъ разсказовъ.

Пустяки, все пустяки!... Я хотѣла разогнуться, но не успѣла поднять голову, какъ опять прижалась лбомъ къ холодной плитѣ. Голова затекала кровью... жаръ начинался. Минуту спустя, я вся горѣла. Мысли смерчемъ крутились въ головѣ. Липа... Господи помилуй... мыши... Юлинька... ночью въ церкви иконы другъ къ другу въ гости ходять... Липа, Липочка, милочка!.. мыши... упыри... Недавно прочитанный „Вій“ мелькнулъ въ памяти... Слово острая ледяная стрѣла пронизала меня! Я вскочила на ноги, но тотчасъ-же опять рухну-

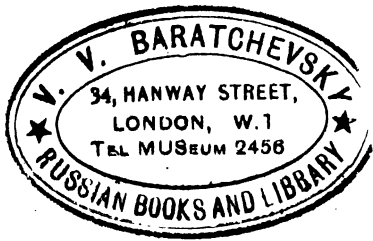
лась на колѣна. Все кругомъ вертѣлось и плясало въ свѣтломъ, лучистомъ туманѣ. Глаза рѣзало... Лица вылетѣла у меня изъ мыслей... да и ни о чемъ другомъ я не думала, кажется, въ эту минуту: инстинктивный, животный страхъ не оставилъ во мнѣ мѣста какому-либо другому ощущенію. Я растерянно искала глазами какой-нибудь твердой, не колеблющейся точки. Лучше бы мнѣ ее не находить: съ иконостаса, прямо надъ Богородицей, сурово уставились на меня желтоватые бѣлки темнаго, сумрачнаго лика. „Кто ты, дѣвчонна, что рѣшаешься беспокоить святыхъ въ святомъ мѣстѣ?“ — чудилось, говорили они. Молитесь за Липу... Мой подвигъ — это, еще недавно, великое дѣло — показался мнѣ такимъ маленькимъ, дѣтскимъ, школьническимъ.

... — А за себя, отчего-же ты не приходишь за себя молиться? — спрашивали суровые глаза: — „ты грѣшница!“ — „Матерь Божія, ты видишь!“ — „Да! ты грѣшница!“ — отвѣтило мнѣ и Бя потемнѣвшее лицо; лампада вспыхивала послѣднимъ пламенемъ. — „Ты грѣшница!“ — услышала внутри себя голосъ, но такъ внятно, словно кто нибудь, подиравшись сзади, прямо въ ухо прошепталъ мнѣ эти страшныя слова, — они не переставали звенѣть гдѣ-то внутри головы, печально, жалобно, какъ звукъ надорванной струны.

Лампада угасла. Я очутилась во мракѣ, но... глаза, мстительные глаза, теперь уже не пара, а много, безъ числа — большіе и маленькіе, полуоткрытые и съ выкаченными бѣлками, смотрѣли на меня отовсюду въ этой одухотворенной темнотѣ. Что-то двигалось въ церкви, стонало, шуршало, шумѣло, летало, казалось, чуть не цѣпляя меня за волосы. Звонъ въ ушахъ превратился въ полновѣсный мѣдный благовѣстъ: — „грѣшница! грѣшница! грѣшница!“ — ликуя, гудѣлъ онъ. Я стала

кричать, по крайней мѣрѣ, сдѣлала усиліе, но врядь-ли хриплые вопли перехваченнаго спазмами горла были слышны на разстояніи сажени отъ меня. Тогда, отмахиваясь руками отъ этихъ вертящихся, пляшущихъ, мигающихъ глазъ, я бросилась бѣжать... Куда? — не знаю. Звонъ разбитыхъ стеколъ отрезвилъ меня. Я догадалась, что наткнулась на плащаницу, и попятилась. — „Кошунство!“ — прогудѣлъ благовѣстъ и умолкъ. Всѣ глаза какъ-то позеленѣли и стали неподвижно, застывъ въ воздухѣ...

Дальше я ничего не помню. Очнулась я — полуживая — уже не въ институтѣ, а дома, на рукахъ тети Елены, и больше въ институтъ не возвращалась. Самое названіе его, самая мысль о немъ приводила меня въ трепеть; безумная ночь такъ и вставала въ памяти, — и стыдно, и жутко становилось... Пришлось доучиваться дома. Долго не говорила я никому, какъ и зачѣмъ продѣлала всю эту выходку, и только съ годами перестала конфузиться своего отшедшаго въ даль ребячества и получила смѣлость быть откровенною... Что стыдиться давно прошедшихъ и невозвратныхъ глупостей!



ПОСЛѢ ДУЭЛИ.

I.

Пишу эти строки подъ арестомъ, отчасти затѣмъ, чтобъ убить казематную скуку, отчасти потому, что меня невыносимо тяготятъ воспоминанія истекшаго дня, и есть потребность высказаться хоть самому себѣ, на бумагѣ...

Сегодня утромъ, пріятель мой Иванъ Юрьевичъ Волинскій стрѣлялся съ другимъ моимъ пріятелемъ, поручикомъ Раскатовымъ; я и баронъ Брунновъ, юнецъ изъ „золотой молодежи“, были секундантами. Доктора не было. Исторія разыгралась скверно: Раскатовъ уложилъ Волинскаго на мѣстѣ.

Когда Волинскій, третьяго дня, спросилъ меня:

— Владиміръ Павловичъ, не согласишься ли ты передать мой вызовъ Раскатову?

Я, не колеблясь, сказалъ „да“ и даже не спросилъ подробностей причины вызова. Я зналъ, что Волинскій дерется за женщину, свою любовницу, что онъ оскорбленъ и правъ, а Раскатовъ кругомъ виноватъ: чего же еще? Да, наконецъ, могъ-ли я предположить въ двухъ львахъ большого свѣта взаимную ненависть, способную довести до серьезнаго поединка? Я ждалъ обычной водевильной дуэлки, съ выстрѣлами на воздухъ, съ шампанскимъ по примиренію, съ брудершафтами, и пр., и пр.

Участвуя въ водевилѣ, я и велъ себя по-водевильному. Когда дуэлисты сошлись на барьерѣ, я, съ улыбкой, предложилъ имъ протянуть другъ другу руки: моль, подурачились,—и будетъ!

Раскатовъ былъ не прочь извиниться. Но тутъ-то и началась драма. Волынской оборвалъ меня на первомъ словѣ.

— Я не желаю никакихъ объясненій! никакихъ извиненій! — крикнулъ онъ, — оставь меня! Поди, скажи Раскатову, что я буду стрѣлять въ него и постараюсь хорошо цѣлиться.

Я никогда не слыхалъ болѣе возбужденной рѣчи, никогда не видалъ болѣе блѣднаго, исковерканнаго гнѣвомъ, лица, никогда не смотрѣлъ въ такіе свергающіе глаза.

Я извинилъ бы Раскатову смерть Волынскаго, — не могъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, позволить убить себя! — если-бы не видалъ, съ какимъ ужаснымъ—скажу—животнымъ хладнокровіемъ наводилъ онъ въ грудь противника дуло пистолета. Мнѣ казалось, Раскатовъ думалъ въ эту минуту:

— Для меня безразлично: убить тебя, или оставить въ живыхъ, но такъ какъ ты самъ на это запрашиваешься,—я тебя убью.

Раскатовъ выстрѣлилъ. Волынской упалъ навзничъ и судорожно повелъ членами. Мы съ Брунновымъ бросились къ нему — онъ былъ мертвъ: пуля пробила ему сердце.

Раскатовъ приблизился къ мертвецу, взглянулъ ему въ лицо, поморщился, отвернулся и быстро зашагалъ за кусты, къ своей коляскѣ. Дорогою, онъ вспомнилъ о пистолетѣ, оставшемся у него въ рукахъ, и возвратился къ намъ; отдалъ оружіе Бруннову, еще разъ покосился на Волынскаго, дружески кивнулъ мнѣ и

затѣмъ удалился. Я посмотрѣлъ вслѣдъ Раскатову: онъ шелъ твердой поступью, съ обычной молодцоватой выправкой, настоящимъ гвардейскимъ львомъ.

Мы подняли трупъ. Лужа крови пятномъ чернѣла на желтой осенней травѣ. Тѣло Волынскаго тяжело повисло на моихъ рукахъ окровавленными плечами; оно быстро холодѣло, и мнѣ трудно было бороться съ невольнымъ чувствомъ отвращенія къ этому остыванію. Съ помощью Бруннова, я всунулъ кое-какъ трупъ въ карету и самъ сѣлъ внутрь. Брунновъ сробѣлъ и, подъ предлогомъ, будто ему дурно, взобрался на козлы. Лошади, почуявъ кровь, храпѣли, косили глазами, были готовы понести. Кучеръ Вавила машинально удержалъ ихъ, но совсѣмъ потерялся и все твердилъ:

— Господи, помилуй! Этакій хорошій баринъ, и вдругъ столь скоропостижно скончался!

Возжи дрожали въ его рукахъ. Брунновъ взялъ у него кнутъ и хлестнулъ по лошадямъ. Карета покатилась.

Я спустилъ оконныя шторы и остался въ синемъ полумракѣ, наединѣ съ убитымъ. Дорога была тряская; тѣло, качаясь, подпрыгивало на подушкахъ сидѣнья. У меня было скверно на душѣ: дуэль, дѣйствительно, свершилась такъ „скоропостижно“, что я не могъ сообразить, за какую нить ухватиться мыслью, чтобы прослѣдить ходъ событій... Въ минуты сильныхъ душевныхъ потрясеній, въ головѣ моей начинаетъ бродить множество мыслей, и ничто не можетъ взбѣсить меня болѣе невозможности вытѣснить ихъ изъ ума вонъ. Мнѣ было очень жаль Волынскаго, а жалостливыя думы не слагались въ умѣ: въ головѣ съ нахальнымъ упорствомъ вертѣлся какой-то опереточный мотивъ, съ утра вбитый въ мою память прохожимъ шарманщикомъ.

Мы привезли тѣло на квартиру покойнаго. Антони-

на Павловна Ридель, женщина, за которую стрѣлялся Во-
лынскій, не допустила меня приготовить ее къ печаль-
ному извѣстію: глаза мои выдали ей истину. Брунновъ
и Ваила внесли Волынскаго. Антолина Павловна по-
дошла къ трупу, опустилась на колѣни и стала смо-
трѣть въ мертвое лицо, молча, безъ слезъ, словно хо-
тѣла понять: какъ-же совершилась такая напрасная
смерть?—и не могла; словно недоумѣніе задавило въ ней
печаль. Мы тоже не смѣли говорить, да и что можно
было сказать? Общее молчаніе тяжелымъ камнемъ легло
на каждого изъ насъ, и я почти обрадовался приходу
полиціи. Пока составляли актъ, Антолина Павловна
удалилась къ окну и устремила пристальный взоръ на
лицу; плечи ея вздрагивали; наконецъ, она заплакала...
Насъ съ Брунновымъ увели. Не знаю, что было дальше.

Интересно мнѣ, какъ чувствуетъ себя теперь Раска-
товъ? О чемъ-то думаетъ онъ, скучая на гауптвахтѣ?
Раскачаніе-ли его мучить? Жаль-ли ему погибшей жер-
твы? Я думаю,—ни то, ни другое, и живо представляю
себѣ, какъ отъ сидитъ на жесткомъ „арестантскомъ“
табуретѣ въ непринужденной позѣ, — той самой, что
доставила ему въ салонахъ прозвище „le beau“, кру-
титъ усы и размышляетъ:

— Ah, bête qu'était ce miserable Wolynsky! — про-
паль теперь мой билетъ на бенефисъ Зембрихъ!

II.

Волынскій умеръ, не стерпѣвъ слова „альфонсъ“,
брошеннаго ему въ лицо Раскатовымъ. „Альфонсъ“—
скверная кличка, и надо быть или образцомъ христіан-
скаго незлобія, или мѣднымъ, нѣтъ, — мало: никкели-
рованнымъ лбомъ, чтобы равнодушно расписаться въ
ея полученіи. Да еще и кличка-то была не по шерсти,

и получение не по адресу. Волынский былъ... чѣмъ хотите, только не альфонсомъ. Свѣтъ зналъ наружность дѣла: Волынский, полуразоренный виверъ, вступилъ въ открытую связь съ Антониной Павловной Ридель, женщиной очень богатой, на пятнадцать лѣтъ его старшей,—и устами Раскатова бросилъ позорное обвиненіе. Подкладку дѣла свѣтъ не зналъ, да, впрочемъ, какъ это всегда бываетъ, и не хотѣлъ знать.

Я былъ пріятелемъ Волынскаго около десяти лѣтъ. Это былъ человѣкъ съ золотымъ сердцемъ, не способнымъ отупѣть и зарости мохомъ даже среди той воистину безобразной жизни, въ какую съ самыхъ раннихъ лѣтъ толкнули его воспитаніе, товарищество и независимое состояніе. Характеръ у Волынскаго былъ восковой; онъ годился рѣшительно на все, дурное и хорошее; попади онъ съ самаго начала въ хорошія руки, — изъ него вышелъ бы дѣльный и полезный малый, но его чуть не съ пятнадцати лѣтъ окружилъ и засосалъ въ свою тину омутъ богатой петербургской молодежи, сытой и бездѣльной... Изъ этой растлѣнной среды некому было выйти, кромѣ эгоиста-вивера, прожигателя жизни съ двухъ концовъ, какъ это говорится. Какъ большинству рано начавшихъ жить юношей, Волынскому отчасти льстилъ его преждевременный успѣхъ въ качествѣ *Dont-Juana* и *mauvais sujet'a*, — и вотъ онъ игралъ, не умѣя играть, — пилъ, хмелѣя съ первой рюмки, — ухаживалъ за женщинами, которыя ему не нравились, — выкидывалъ всяческія глупости, самому ему антипатичныя.

Но тому, у кого есть хоть какой нибудь намекъ на внутреннее содержаніе, мудрено истратить безъ оглядки всю свою молодость на карикатуры Сарданапалова пира, отдаться въ безвозвратное рабство вѣдъ, пьянству, юбкамъ. Я помню время, когда Волынский, заскучавъ чуть не до душевной болѣзни, стремился обновить свой

быть, внести въ него хоть какое-нибудь серьезное начало и съ лихорадочнымъ интересомъ хватался то за одно дѣло, то за другое.

Но, къ сожалѣнію, онъ не имѣлъ ни подготовки, ни привычки къ труду и, притомъ, какъ очень состоятельный человѣкъ, не могъ искать въ работѣ иной цѣли, кромѣ одной: убить докучное время. Онъ долженъ былъ сознаться, что не чувствуетъ интереса къ труду ради самаго труда, что всякое серьезное занятіе будетъ обращаться для него въ игрушку отъ нечего дѣлать, что, слѣдовательно, онъ и впредь осужденъ на продолженіе той-же, хмельной до пресыщенія, бездѣятельности.

Кому легко сдѣлать такое открытіе на свой собственный счетъ, сдѣлать — и утвердиться въ немъ? Словно самъ себя подписываешь приговоръ полной своей ненужности на землѣ. А что ненужно, зачѣмъ тому и быть? Ненуженъ, — и конецъ: убирайся прочь изъ жизни, дай дѣрогу кому-либо изъ грядущаго поколѣнія... Много русскихъ Гамлетиковъ заключило развитіе этого силлогизма револьверной пулей себя въ лобъ, а еще больше спилось съ круга и совсѣмъ утонуло въ грязи: трусовъ и между сытыми неудачниками, какъ вездѣ, больше чѣмъ храбрыхъ...

Волинскій былъ изъ Гамлетиковъ и, навѣрное, кончилъ-бы очень скверно, не подвернись ему какъ-разъ кстати, въ самое благое время, спасительница-любовь.

Когда Волинскій сошелся съ Антониной Павловной, ему минуло двадцать четыре года, а ей—уже тридцать девять лѣтъ. Разница огромная. Но, познакомившись съ Ридель, я нимаго не удивился увлеченію моего друга.

Антонина Павловна—женщина классической красоты, настоящая Юнона: высокая, довольно полная, однако не утратившая ни стройности талии, ни изящества очертаній бюста.

Она превосходно одѣвается. Я не знаю женщины съ болѣе изящными манерами.

Исторія любви Волынскаго рассказана мнѣ имъ самимъ. Я напишу ее его собственными словами.

Если выйдетъ аффектировано, не въ мѣру патетично, — не моя вина: онъ, вѣдь, и на самомъ дѣлѣ былъ аффектированный и лихорадочно-патетическій человѣкъ; простота и хладнокровіе были незнакомыми ему понятіями.

* *
* *

„... Я гостилъ въ Петербургѣ у своей тетки, и у нея познакомился съ Антониной. Случалось мнѣ встрѣчаться съ нею и въ другихъ домахъ. Если хочешь знать какое впечатлѣніе выносилъ я изъ этихъ встрѣчь, — то вотъ: я художнически преклонялся предъ красотой Антонины, чувствовалъ въ ней умное и доброе существо, и меня тянуло видѣть ее. Ни въ чемъ иномъ обществѣ не дышалось мнѣ такъ легко, ни съ кѣмъ другимъ не бывалъ я болѣе откровеннымъ; мы всѣ, молодежь, не прочь порисоваться и подчасъ навязать себѣ, шкуру ради, чортъ знаетъ какой характеръ; но, когда Антонина говорила со мной, я, право, кажется, скорѣе вырвалъ-бы свой языкъ, чѣмъ позволилъ себѣ сказать ей неправду хоть въ одномъ словѣ. Было такое время, что я самъ не подозрѣвалъ своей любви къ Антонинѣ: для влюбленныхъ, мы стояли въ слишкомъ различныхъ условіяхъ жизни; я — довольно безпутный мальчишка, кромѣ состоянія и родового имени, ничего не имѣвшій за собою; она — всѣмъ извѣстная и всѣми уважаемая *femme d'esprit*, дама-патронесса, почти уже зачислившая себя въ разрядъ старухъ. Въ Петербургѣ весьма скоро заговорили, будто я ухаживаю за Ридель, и довольно успѣшно. Сперва я смѣялся, слушая свѣтскіе толки, потомъ задумался: каковы, въ самомъ дѣлѣ, наши отношенія? По годамъ Ридель могла быть мнѣ

матерью, но я не чувствовалъ въ ней старшей себя... Быть можетъ, дружба? Но развѣ есть дружба вообще, а между мужчиной и женщиной въ особенности? При томъ, когда-же друзья занимали такъ упорно мое воображеніе, чтобы грезиться мнѣ по ночамъ, чтобы ихъ имена были моею первой мыслью поутру и послѣдней вечеромъ? Ни для кого на свѣтѣ я ни на іоту не измѣнилъ-бы своего образа жизни, а послѣ знакомства съ Антониной я почти отсталъ отъ кутежей и разорвалъ связь съ кафешантанной пѣвчикою Zizi, между тѣмъ какъ двѣ-три недѣли назадъ едва не поссорился изъ-за своей содержанки съ теткой. Это превращеніе сдѣлалось какъ-то само собою, непримѣтно. Всѣ женскія качества, казавшіяся мнѣ идеальными, я по очереди видѣлъ въ своемъ воображеніи, представляя себѣ Антонину, и... словомъ, пришлось-таки признать себя влюбленнымъ.

Въ одно изъ нашихъ свиданій Антонина приняла меня крайне сухо. Молва дошла до нея. Она высказала мнѣ, что, проживъ на свѣтѣ сорокъ лѣтъ съ безупречною репутаціей, ей поздно дѣлаться игрушкой злословія, и что я, какъ это ни грустно, долженъ прекратить свои посѣщенія.

Я сталъ защищаться и совсѣмъ неожиданно объяснился въ любви. Говорю „неожиданно“ потому, что за пять минутъ передъ тѣмъ я не рискнулъ-бы и подумать о такомъ смѣломъ шагѣ... Я говорилъ долго, сильно, страстно, и, когда кончилъ, Антонина сидѣла блѣдная, дрожащая, а въ глазахъ ея я прочиталъ, какъ сильно она меня любитъ и какъ боится любить.

— Вы также любите меня! Скажите мнѣ: да!—рѣзко проговорилъ я.

— Это безуміе! — прошептала Антонина, — вы сами не знаете, что, говорите.

— Я знаю, что люблю васъ!

— Вспомните, Иванъ Юрьевичъ, свои лѣта и мои!..

— Ваши лѣта!.. Вы моложе меня: вы чисты духомъ, вы мыслите, чувствуете, жизнь ваша полна. Я пришелъ къ вамъ съ испорченнымъ холоднымъ сердцемъ, съ пустою душой, пресыщенной и отравленной удовольствіями... Что же дѣлать, если жизнь одарила меня ими прежде, чѣмъ научила, какъ ихъ принимать! Удовольствіе было моимъ міромъ. То былъ ничтожный міръ, не стоило въ немъ существовать, и я проклиналъ его ничтожество! Я искалъ ему замѣны, въ разные окна глядѣлъ на свѣтъ, но отовсюду видѣлъ его чуждымъ себѣ и понялъ, что не міръ ничтоженъ, а жалокъ я, неумѣющій приспособиться къ нему; и, значить, осталось мнѣ одно: махнуть рукой на себя и, какъ раньше я глумился надъ другими, такъ и теперь горькимъ смѣхомъ наглумиться надъ самимъ собой... Явились вы, — и разбудили во мнѣ чувство, точно свѣтъ внесли въ тьму! Я былъ слабъ, — теперь я бодръ! Прикажите мнѣ взяться за любое дѣло, — къ стыду моему, какое бы вы ни назвали, мнѣ, лѣнтю и неучу, придется приниматься за него съ азбуки — и все-таки, вѣрьте, оно будетъ по плечу мнѣ, если я стану работать по вашему слову. Не отталкивайте же меня! И я приблизился къ Антонинѣ. Она, со страхомъ, отступила.

— Не подходите! — услыхалъ я ея шопотъ.

— Антонина Павловна!

— Я не смѣю ничего сказать вамъ... я не въ силахъ... Дайте мнѣ собраться съ мыслями! уйдите!

— Одно слово!..

— Я отвѣчу вамъ... но теперь, умоляю васъ, идите!.. Послѣ, послѣ...

Я поклонился и вышелъ.

Вечеромъ я получилъ отъ Антонины письмо:

„Долгъ велить мнѣ не писать вамъ, но я обѣщала отвѣтить, и пишу. Извините, если выйдетъ несвязно. Мысли мои разбрелись. Я думала о вашихъ словахъ. Вы правы: я люблю васъ, я еще настолько женщина, чтобы любить. Только доверяя вашей чести, рѣшаюсь я набросать эти безумныя строки. Я всегда презирала развратъ пожилыхъ женщинъ, увлекающій ихъ на постыдныя связи. Теперь я презираю себя. Я никогда не буду принадлежать вамъ: это позоръ. Не подозревайте меня въ боязни свѣта, — о, нѣтъ! за счастье быть вашей я перенесла-бы его судъ! Но я не въ состояннн отдаться человѣку, не вѣря въ его любовь, а въ вашу страсть вѣрить не могу: вы черезчуръ молоды для меня. Оставьте меня, забудьте. Ваше заблужденіе скоро пройдетъ, и, дасть Богъ, вы найдете себѣ подругу по сердцу достойную васъ, молодую. Не будемъ больше видѣться. Не пишите мнѣ, — я не хочу. Я люблю васъ и, повторяю, еще слишкомъ женщина. Ваше присутствіе, ваши рѣчи растерзаютъ мнѣ сердце, потому что я хотѣла-бы вѣрить вамъ, а вѣрить нельзя. Въ мои годы, къ несчастью, могутъ еще любить, но уже не быть любимыми. Ваша А. Р.“

Я немедленно набросалъ отвѣтъ и послалъ Антонинѣ Павловнѣ. Съ часъ не возвращался мой человѣкъ. Наконецъ, мнѣ подали конвертъ, надписанный знакомымъ женскимъ почеркомъ. Внутри оказалось мое не распечатанное письмо... На другой день я встрѣтилъ Антонину на Морской. Я собралъ всю силу воли для спокойнаго, по возможности, разговора и подошелъ къ Антонинѣ:

— Ваше письмо — бредъ! — сказалъ я, — я хочу быть счастливымъ и добьюсь васъ!

Она отвѣтила мнѣ умоляющимъ взглядомъ и — ни слова. Я продолжалъ:

— Счастье въ нашихъ рукахъ, зачѣмъ уступать его?

— Мы будемъ неправы...

— Передъ кѣмъ?

— Я — передъ вами, вы — предо мною, оба мы — передъ самими собой.

Вы пишете, будто не боитесь свѣта; не стыдитесь же нашей любви!

— Я гордилась-бы ею, если-бы могла вѣрить.

— Узаконимъ ее и оправдаемъ себя передъ обществомъ: выйдите за меня замужъ!

— Никогда! Съ моей стороны было-бы нечестно налагать цѣпи на вашу молодость...

— Антонина Павловна, вы губите меня!

— Я васъ спасаю!

Она отвернулася отъ меня и знакомъ подозвала свой экипажъ.

Цѣлую недѣлю затѣмъ я безпутничалъ, какъ никогда. Пьяный, я плакалъ. Что за дурь нашла на тебя?—спрашивали меня товарищи, напиваясь на мой счетъ. Я ругался, но не проговаривался. Кутилъ-же я затѣмъ, что, трезваго, меня невыносимо манило къ Антонинѣ, а, хмелѣя, я былъ увѣренъ, что не пойду къ ней: никакія силы не убѣдили-бы меня показаться ей пьянымъ...

Однажды я, еще трезвый, безцѣльно бродилъ по Петербургу. На Николаевскомъ мосту меня окликнулъ Раскатовъ.

— Ты слышалъ?—сообщилъ онъ,—изъ Москвы пришла телеграмма: Алеша Алябьевъ застрѣлился.

Алябьевъ! мой другъ и учитель моей прожженной молодости!

Мнѣ стало жутко... Въ своемъ тяжеломъ нравственномъ настроеніи, я чуть было не принялъ это самоубійство за указаніе самому себѣ и, разставшись съ Раскатовымъ, въ раздумьи оперся на перила... Нева

плавно выкатывалась изъ-подъ моста массивной сѣрой полосой. Уже темнѣло; накрапывалъ дождь; во мглѣ осеннихъ сумерекъ легко было скользнуть въ рѣку... Я медлилъ,—и вдругъ мнѣ непроизвольно припомнился рассказъ, будто однажды, по случаю большого праздника, на этомъ самомъ мосту была такая давка, что чугунныя рѣшетки не выдержали и рухнули въ воду, увлекая за собой много народа. Я живо представилъ себѣ страшную сцену,—слишкомъ живо: рѣзкій крикъ погибавшихъ такъ и зазвенѣлъ въ моихъ ушахъ... Я испугался и ушелъ отъ Невы. Призракъ самоубійства показался мнѣ черезчуръ чудовищнымъ... Я долженъ былъ спастись отъ него,—и пошелъ искать этого спасенія у Антонины.

Мнѣ, навѣрное, отказали-бы, но горничная не узнала меня и впустила, принявъ за кого-то другого. Я вошелъ въ гостиную. Антонина, въ голубомъ пеньюарѣ, стояла среди комнаты, со свѣчей въ рукѣ; она, видимо, хотѣла скрыться отъ меня, не успѣла и теперь не знала, какъ быть. Ни я, ни она не привѣтствовали другъ друга, словно мы не разставались съ послѣдней встрѣчи. Антонина была сильно взволнована: щеки ея горѣли яркимъ румянцемъ...

Мы долго молчали.

— Вы опять пришли!—тихо сказала Антонина.

Я молчалъ. Она поставила свѣчу на каминъ и протянула ко мнѣ руки:

— Зачѣмъ?!

— Слушайте!—заговорилъ я, и самъ не узналъ своего голоса: онъ звучалъ низко, хрипѣлъ и обрывался,—слушайте! я знаю... я сдѣлалъ глупость, придя къ вамъ. Но я пришелъ и приду опять, буду приходить къ вамъ, пока есть во мнѣ воля жить. Гоните меня, — я стану

сторожить васъ на улицѣ. Перестанемъ говорить о любви, не будемъ вовсе говорить, если вы не хотите, но позвольте мнѣ видѣть васъ: безъ васъ мнѣ смерть.

— А развѣ мнѣ легче!?

— Вамъ!.. Вы не любите!

— Нѣтъ, люблю, къ несчастью! Стыжусь, а люблю! Видить Богъ, три раза я была готова написать вамъ: „Придите. Я ваша!“ Я плакала, разрывая начатыя записки. Теперь я почти совладала съ собой... Я!.. Говорить, послѣдняя любовь опаснѣе первой. А моя любовь къ вамъ и первая, и послѣдняя любовь! Довольно же намъ волновать другъ друга... Справьтесь съ собой и не смущайте меня!

— Антонина Павловна! въ наши объясненія я говорилъ вамъ, какъ много можетъ дать наша любовь. Теперь я не стану повторять вамъ ни своихъ плановъ, ни своихъ надеждъ, ни своихъ идеаловъ. Я потерялся... я начинаю думать, что у меня нѣтъ и не было никакихъ идеаловъ, — первый явился мнѣ вмѣстѣ съ вами. Что мое будущее?! Оставимъ его. Сжальтесь надо мною во имя насъ самихъ! За что мы, два независимыхъ существа, какъ будто боимся кого-то и безцѣльно вносимъ въ свою жизнь горечь ненужной разлуки?

— О, Боже мой!

— Антонина! не скрою отъ васъ: я не доброй волей пришелъ къ вамъ сегодня... Страхъ, да, страхъ выгналъ меня изъ дома. Смерть стоитъ за вашими дверями и ждетъ меня. Не думайте, чтобъ я унизился до пошлости пугать васъ самоубійствомъ. О, нѣтъ! Но я самъ боюсь его, призрака смерти! Кровь леденѣетъ въ моихъ жилахъ, едва я подумую о концѣ... Во мнѣ нѣтъ силы жить, — и хочется жить! нѣтъ воли умирать, -- и надо умирать!.. Пощади же меня! Ты сильна, дѣятельна, полна жизни; я слабъ, жалокъ, я самъ себя стыжусь.

Единственная моя сила въ тебѣ, чистая! прекрасная! любимая!

Антонина, сложа руки на груди, быстро ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, вздрагивая при каждомъ моемъ „ты“. Какъ дивно хороша была она! Ни разу чувственное желаніе не закрадывалось въ мой умъ въ ея присутствіи. Не оттого-ли я и полюбилъ ее такъ крѣпко? Но теперь кровь бросилась мнѣ въ голову. Не помню, что еще говорилъ я. Антонина прервала меня жестомъ... Живо помню ея лицо съ полузакрытыми глазами, съ прикушенной нижней губой, между тѣмъ какъ верхняя вздрагивала, вздрагивала...

— Поклянись, что ты любишь меня! — съ усиліемъ выговорила она.

— Чѣмъ-же клясться? Тобою?! Я ни во что не вѣрю, кромѣ тебя!

Но Антонина уже не слушала меня и, заломивъ руки, восклицала:

— Господи! сдѣлай, чтобъ онъ говоритъ правду! сдѣлай!.. И, если онъ лжетъ, покарай не его, а меня за то, что я ему вѣрю!

IV.

Такъ страстно начала свою любовь странная четв...

Чуть не цѣлую зиму толковали о ней въ столичныхъ кружкахъ, потомъ притихли. Волынской и Ридель жили тѣмъ временемъ то въ деревнѣ, то за границей. Возвращеніе Волынскаго въ Петербургъ и окончательное разореніе его въ одной каменноугольной аферѣ подало поводъ къ взрыву новыхъ пикантныхъ варіацій на игривую тему его связи съ богатой пожилой вдовой.

— Нечего сказать, хорошъ Волынской!—слышались голоса.—Такъ вотъ подкладва романа: мы бросаемся въ

рискованныя предпріятія и, на случай несостоятельности, подготовляемъ себѣ резервъ, въ видѣ капиталовъ старой развратницы. Недурно разсчитано!

Волынскому нечего было отвѣчать на клевету: улики были противъ него. Да и безъ уликъ свѣтъ не пощадилъ бы его: въ людяхъ могуча потребность „чужого скандала“, и скорѣе Волга потечетъ отъ устья къ истоку, нежели свѣтъ откажетъ себѣ въ удовольствіи затоптать въ грязь любого изъ членовъ своего круга, при первомъ же удобномъ предлогѣ и случаѣ.

Волинскій нигдѣ не бывалъ, и уколы общественнаго мнѣнія доходили до него только въ видѣ слуховъ. Онъ мало безпокоился сплетнями, пока не начались издѣвательства надъ Антониной Павловной. Онъ говоритъ:

— Когда-то свѣтъ усердно прославлялъ меня за разныя амурныя гадости; пусть, для контраста, побранить теперь за первую честную любовь.

Но какъ-то разъ, смѣясь надъ одной изъ глупѣйшихъ выдумокъ своихъ недоброжелателей, онъ замѣтилъ слезы въ глазахъ Антонины Павловны и понялъ:

— Антонина страдаетъ и оскорбляется за меня, какъ я—за нее.

Беззаботность Волинскаго исчезла навсегда. Броня, неподдавшаяся ядовитымъ стрѣламъ злословія, потеряла свою крѣпость предъ скорбнымъ взоромъ любимой женщины, и стрѣлы начали достигать цѣли.

„Моя любовь причинила тебѣ позоръ!“—думали любовники, глядя другъ на друга. Если Волинскій былъ грустенъ, Антонина Павловна волновалась:— „какую новую подлость вытерпѣлъ онъ за меня?“—и погружалась въ глубокое уныніе, Волинскій видѣлъ эту печаль; видѣлъ—открытую, прозрѣвалъ ее любящимъ взоромъ подъ маской напускнаго спокойствія, дѣланной веселости, и незачѣмъ было ему спрашивать о причинахъ печали.

Ему оставалось только сознавать тяжесть обвинения, свое бессиліе придать дѣлу другую окраску и—приходить въ ужасъ отъ горькихъ итоговъ такого сознанія. Со дня на день онъ сильнѣе и сильнѣе тосковалъ и озлобился. Онъ не думалъ еще о мести, но уже чувствовалъ, что негодованіе, медленно накипаая въ душѣ, заглушаетъ голосъ благоразумія, что гнѣвъ просится наружу...

Это было началомъ конца...

Зачѣмъ днемъ раньше я не далъ себѣ труда взглядѣться въ дѣла Волынскаго, какъ взглядѣлся теперь! Никогда-бы не допустилъ я его до дуэли съ Раскатовымъ!

Но онъ, послѣ вызова, былъ такъ спокоенъ, такъ веселъ! Онъ обманулъ и меня, и Антонину Павловну. Она совсѣмъ ничего не подозрѣвала; я думалъ:—А, право, для Волынскаго будетъ недурнымъ маневромъ пугнуть въ лицѣ Раскатова нашъ beau monde; серьезныхъ послѣдствій дуэль, конечно, не будетъ имѣть, а все-таки обмѣнъ выстрѣловъ — штука, которою не всякій рискнетъ и, слѣдовательно, послѣ, нея половина сплетниковъ прикусятъ языки!

И вотъ—онъ... бѣдный! бѣдный!..

V.

Что-то станетъ теперь съ Антониной Павловной?..

Семнадцатилѣтнею дѣвочкой выдали ее замужъ за генерала Ридель, во время оно военную знаменитость, побѣдителя враговъ отечества и дамскихъ сердецъ, а въ эпоху женитьбы дряхлаго, грязнаго старикашку, оскверненнаго всѣми пороками современнаго разврата. Дѣвушка не повимала, кому ее отдають, ужаснулась, когда поняла, но—разъ отданная—безропотно понесла крестъ, посланный судьбой. Антонина Павловна прожила пятнадцать лѣтъ съ человѣкомъ, чьи ласки могли

быть только оскорбленіемъ ей, цѣломудренной, умной, развитой,—однако, даже нахальное свѣтское шпіонство оказалось бессильнымъ обличить молодую женщину хотябы въ одномъ увлеченіи. Она была вѣрна своему генералу, какъ пушкинская Татьяна, съ одной лишь разницей: память ея сердца не хранила въ себѣ образа Онѣгина...

Генераль умеръ. Вдова на свободѣ. Она богата и красива. Свѣтъ у ея ногъ. Блестящія партіи предоставляются ей на выборъ. Но Антонина Павловна не хочетъ партіи: пятнадцать лѣтъ брака были для нея слишкомъ горькой школой, чтобъ отдаться новому супругу безъ любви.

Она присматривается къ своимъ поклонникамъ... Нѣтъ! Эти люди знатны, богаты, иногда даже интересны и умны, — словомъ, можетъ быть, и очень хорошіе люди, но... не для нея! Одни ухаживаютъ за молодой вдовой, какъ за богатой женщиной со связями, другіе добиваются обладать ея пышной красотой. Не того ей надо! Она хочетъ любить и быть любимой. Проходитъ нѣсколько лѣтъ. Антонина Павловна считаетъ свои года:

— Мнѣ тридцать шесть лѣтъ!—говоритъ она,—это почти старость! Поздно любить!—И она твердой рукой, безъ колебаній ставитъ крестъ на своихъ мечтахъ. Она уже не звѣзда вечернихъ выѣздовъ; теперь она хозяйка виднаго въ столичномъ кругу салона, *femme d'esprit*, благотворительница, капиталистка, вліятельная вдова заслуженнаго генерала.

И все это—предвзятое, напускное, преждевременно принятое на себя! Все это—пепель, грудю наваленный на костеръ, далеко еще не угаснувшій подъ навязанной ему оболочкой!

Явился Волынский...

Антонина Павловна, привыкнувъ воображать себя

старухой, сперва устыдилась и испугалась вспыхнувшего въ ней чувства, а потомъ еще больше испугалась взаимности со стороны молодого человѣка, едва не юноши. Она долго не сдавалась Волинскому, упрямо боролась противъ природы... то былъ неравный бой!

Сойдясь съ Волинскимъ, Antonina Павловна достигла счастья любви, присужденнаго ей въ юные годы вмѣстѣ съ дарами красоты, какими надѣлила ее природа. Долго, слишкомъ долго жизнь съ жестокимъ упорствомъ попирада ея права на любовь, и тѣмъ полнѣе взяла она теперь ниспосланные ей судьбою восторги.

Волинскій сталъ для нея источникомъ цѣлаго міра неизвѣданныхъ доселѣ мыслей, чувствъ, ощущеній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, властелиномъ и богомъ въ этомъ мірѣ...

И вотъ разбить ея волшебный міръ, низверженъ ея богъ, сталъ трупомъ властелинъ!..

Такъ долго ждать счастья и, едва узнавъ опьяняющую прелесть его обаянія, лишиться счастья вновь и навсегда!... Да! тутъ есть отъ чего притти въ отчаяніе!

Не знаю, какъ перенесетъ Antonina Павловна горе, но, зная ее, не жду ничего хорошаго...

БРАТЬ И СЕСТРА.

Я подходилъ къ Новому Иерусалиму *). Путь—однообразный, пыльный проселокъ, брошенный, вмѣстѣ съ полдюжиной тихихъ деревушекъ, мелководною рѣчкой и нѣсколькими лѣсистыми болотцами, на скучной равнинѣ между Крюковымъ и Воскресенскимъ — давно надоѣлъ глазамъ и утомилъ ноги; ремни дорожнаго мѣшка рѣзали плечи. Хотѣлось одного: поскорѣе очутиться за лѣсистую линію горизонта, откуда такъ заманчиво льется глухой, таинственный вечерній звонъ уже недалекой, но еще невидимой обители.

За селомъ Дарна, съ высокаго берега низкой рѣчки, путникъ впервые видитъ на темнозеленомъ фонѣ широко разбѣжавшагося вправо и влѣво лѣснаго моря золотую звѣздочку — вершину креста на новоіерусалимскомъ соборѣ. Отсюда до монастыря рукой подать. Построенный на возвышенности, онъ съ каждымъ нашимъ шагомъ точно плыветъ вамъ на встрѣчу, какъ исполинская нарядная яхта.

На завтра было Вознесенье. Въ воскресенской жизни этотъ праздникъ отмѣченъ двойнымъ торжествомъ — крестнымъ ходомъ и двухдневною ярмаркой. Въ посадѣ

*) Извѣстный русскій монастырь (московской губерніи, при посадѣ Воскресенскомъ).

набрались поэтому не малых тысячи народа, и я съ трудомъ нашелъ себѣ комнату для ночлега.

Было что поглядѣть и послушать въ живыхъ, весело настроенныхъ толпахъ, скопившихся у святыхъ воротъ монастыря. По пути въ Воскресенскъ я удивлялся безлюдью селъ, какія случилось мнѣ проходить; идешь по иному,—ни души; только собаки бродятъ по тихимъ улицамъ, да и то такія смиренныя, молчаливыя, словно отъ роду и не знали, что такое—лай. Оказывается, народъ-то—вонь онъ гдѣ!..

Подъ святыми воротами шла бойкая торговля образками, житіями святыхъ, брошюрками съ описаніемъ монастыря, акаеистами. Бабы сплошной стѣной окружали прилавокъ, почти вырывая священный товаръ изъ рукъ продавцовъ-монаховъ. Одинъ изъ нихъ, пожилой, съ умнымъ насмѣшливымъ лицомъ, пытался дѣйствовать на своихъ ретивыхъ покупательницъ честью, — увѣщаніями, укоризненными взглядами; другой — молодой послушникъ, взволнованный, раскраснѣвшійся,—„лаялся“, очевидно, глубоко и искренно ненавидя въ эту минуту безобразную, насѣдающую со всѣхъ сторонъ, бабью орду. Изъ-подъ пролета воротъ элегматически любовался этой свалкой іеромонахъ, раздаватель святой воды, большой красивый мужчина въ ризахъ: его тоже осаждали, но онъ какъ-то сумѣлъ водворить порядокъ между своей паствою; толпа проходила мимо него строгою очередью, словно въ турникетъ, и рука іеромонаха, вооруженная кропиломъ, поднималась и опускалась съ машинальною мѣрностью.

Мужчины подъ святыя ворота не лѣзли. Стоя и сидя поодаль, они смотрѣли на пеструю толчею желтыхъ, красныхъ, синихъ платочковъ, слушали бабій визгъ и руготню, смѣялись и крѣпко острили. Ругани висѣло въ воздухѣ болѣе, чѣмъ достаточно, но, если вырывалось

на свѣтъ бѣлый изъ чьего-нибудь широко распущеннаго горла ужъ чрезмѣрно крѣпкое словцо, мужики его немедленно закрепивали; въ этомъ выражалось уваженіе къ кануну праздника: на завтра, послѣ обѣднѣ, ругались ужъ безъ крестовъ. Кучки деревенской молодежи разсыпались по монастырской роцѣ; должно быть, имъ было весело: берега мѣстнаго Іордана—рѣки Истры гремѣли смѣхомъ, шутками, бойкими окриками; иной разъ зачиналась пѣснь, но тотчасъ-же и обрывалась: надо полагать, пѣвцуны вспоминали про канунъ.

Когда стемнѣло, народъ, переполнивъ и „странную“, и гостиницы, и всѣ ближайшіе къ обители частные дома, во множествѣ остался еще безпріютнымъ. Лощина между городомъ и монастыремъ усыялась спящими. Въ роцѣ стало еще звончѣе и веселѣй. Народъ гулялъ, какъ умѣлъ, справляя рѣдкій день отдыха грубо и не слишкомъ чистоплотно, можетъ быть, но за то съ полнымъ чистосердечіемъ и увлеченіемъ. Пьяныхъ вовсе не было.

Я почти всю ночь пробродилъ по окрестностямъ Новаго Іерусалима и пришелъ къ ранней обѣднѣ усталый, съ тяжелой головой. Запахи ладона, кумача, пота, масляныхъ головъ, переживавшіеся подъ громаднымъ голубымъ платромъ биткомъ набитаго народомъ храма, совсѣмъ меня одурманили, и я послѣшилъ въбраться на монастырское кладбище, не слишкомъ обширное и бѣдное памятниками. Подивившись чугунной плитѣ надъ прахомъ нѣкоего гвардіи вахмистра Карпова, — этому воину, въ моментъ его кончины, было, по эпитафіи, всего семь лѣтъ отъ рожденія, — я ушелъ въ самую глубь кладбища, гдѣ, подъ сиренями, у старой могилы, покрытой двойной плитой, нашелъ себя неожиданно компаньона и собесѣдника. Это былъ старый, степенный мѣщанинъ изъ Москвы. По кладбищу онъ

бродилъ съ практической, но довольно невеселою цѣлью: возмечтавъ со временемъ упокоить въ Новомъ Іерусалимѣ свои грѣшныя кости, онъ присматривалъ не этотъ случай мѣстечко...

— Вотъ этакъ хорошо похорониться, — указалъ онъ мнѣ, между разговоромъ, — знатная плита, купецкая.

— Но, вѣдь подъ нею двѣ могилы, — замѣтилъ я.

— Мы тоже на два мѣстечка мѣтимъ: себѣ и супругъ; помру я, — Анна Порфирьевна меня похоронить; помретъ она, — я ее; а потомъ наследники пускай накроютъ насъ такой плитой; мы съ супругой сорокъ годовъ жили — не ссорились, такъ, значить, и на томъ свѣтѣ, чтобы неподалечку другъ отъ друга.

Я одобрилъ затѣю старика.

— Это кого-же такихъ похоронили здѣсь? — говорилъ онъ, щури старые глаза на плиту, — безъ очковъ-то я не очень...

Я прочиталъ. На плитѣ была начерчена пространная эпитафія супружеской четъ: интереснаго въ ней ничего не было, кромѣ того, что жена пережила мужа всего тремя днями.

— Вѣроятно, померла какой-нибудь заразной болѣзью, — предположилъ я.

— А, можетъ быть, отъ горя? — возразилъ мнѣ мѣщанинъ.

— И то можетъ быть. Впрочемъ, я, кромѣ самоубійцъ, не видалъ людей, умиравшихъ отъ горя...

— А я, на грѣхъ свой, видѣлъ... наказалъ Господь...

— Вотъ какъ? это любопытно.

— Да, господинъ, чѹдное и странное это дѣло. А для меня въ немъ и то еще огорчительно, что въ моемъ домѣ ему мѣсто было, и моя родная кровь въ немъ, хотя и не по своей волѣ, случаемъ, а все не безъ грѣха. Изволите-ли видѣть: мы московскіе мѣщане, приторго-

вываемъ малость скобянымъ товаромъ, и, хоть времена теперь не такія, чтобы коммерческому человѣку имѣть большой профитъ, однако, благодаря Бога, на достатки не жалуемся. Имѣемъ домикъ въ Лефортовой; верхній этажъ сдаемъ, внизу живемъ сами. Семья невеличка: я самъ-другъ со старухой, да племянница Гаша,—теперь ужъ на возрастъ дѣвка, а, когда приключилось все это, что я вамъ хочу рассказать, она была еще семи лѣтъ не дошедши. Дѣтьми насъ съ Анной Порофирьевной Господь не благословилъ: вотъ мы себѣ эту Гашу отъ покойной своячени и приспособили—вродѣ какъ-бы въ дочки. Шустрая дѣвчонка! года три еще,—и надо замужъ выдавать... Да! такъ верхній-то этажъ мы сдаемъ. Жили у насъ все благородныя лица и все подолгу; послѣдній жилецъ, учитель изъ гимназіи съ Разгуляя, чуть не десять годовъ занималъ фатеру; такъ былъ доволенъ. Перевели его куда-то въ губернію директоромъ, остались мы безъ жильца. Наклеваются разные,—да смерть не охота отдавать незнакомымъ! кто его знаетъ, какой человѣкъ? Я по старинѣ живу: въ свой домъ не пріятнаго человѣка не пушу; что мнѣ за радость себя неволить?.. Хорошо-съ. Ждемъ мы, пождемъ недѣльку—другую,—завертываетъ къ намъ участковый.

— У меня для тебя, говорить, Иванъ Самсонычъ, жилища имѣется. Хорошая: генеральская дочь... Желаетъ?

— Зачѣмъ не желать, коли ваше высокоблагородіе ручаетесь?

— За самого себя такъ не поручусь; я ее лѣтъ тридцать знаю, помню вотъ этакую отъ земли. Я, когда еще состоялъ въ военной службѣ, былъ ординарцемъ у ея отца.

— Какъ фамилія-то?

— Пестряева, Анфиса Даниловна Пестряева...

Потолковали мы съ господиномъ участковымъ, водки

выпили, а къ вечеру онъ и самоё госпожу Пестрядеву привелъ смотрѣть фатеру. Видимъ: двѣца одинокая, немолодая,—коли не выжила еще бабьяго вѣку, то скоро выживеть,—тихая, скромная; цѣну даетъ настоящую, претензій этихъ жилецкихъ: то передѣлай, это перекрась,—не предъявляетъ; что долго думать то? Сдали квартиру.

Живетъ у насъ барышня мѣсяцъ, другой, какъ сурокъ въ норѣ: ни она въ гости, ни къ ней гости. Съ прежними жильцами у насъ и печки и лавочки были заведены: то мы у нихъ, то они у насъ, бывало, чаи разводимъ, а съ этой и мы попервоначалу не сошлись. Не то, чтобъ Анюса Даниловна была горда: куда тамъ! а неумѣлая какая-то, застѣчивая. Надо полагать, въ малыхъ лѣтахъ часто ей попадало отъ папеньки по затылку, — старикъ-то, сказывалъ участковый, куда крутъ былъ,—вотъ ее и одурило немножко, люди-то ей вродѣ какъ-бы страшны стали; не знай, что пожалѣютъ, не знай, что обидятъ. Однако, мы подружались въ скорости,—и по такому смѣшному случаю-сь.

Есть въ нашемъ переулкѣ лавочникъ Демьяновъ; характеромъ—собака суцая, а торгуетъ всякимъ старьемъ; желѣзный ломъ — такъ желѣзный ломъ, тряпье—такъ тряпье, книженки—такъ книженки,—чѣмъ приведется. Вотъ-сь и купилъ онъ какъ-то партію книгъ по случаю, свалилъ ихъ у прилавка въ кучѣ. Идетъ мимо наша барышня,—а она была люта читать; видитъ книги, полюбопытствовала: что молъ это у васъ?.. можно по-смотреть?.. Демьяновъ, какъ человекъ охальный, да на тотъ грѣхъ еще подъ хмелемъ маленько, на это ей съ дерзостью:

— Смотри, коли грамотная.

Барышня поняла, что мужикъ не въ себѣ, испугалась, хочетъ уйти изъ лавки, а Демьяновъ обрадовался, что на этакаго Божьяго младенца попалъ, и ну куражится.

— Эхъ ты, говорить, дама изъ Амстердама! нешто такъ покупательницы, ежели которыя хорошия, покупаютъ? Это что-же за модель? Книги ты у меня разворошила, а пользы я отъ тебя гроша не имѣю... Этакъ всякій съ улицы будетъ въ лавку лѣзть, да товаръ ворочать,—на васъ и не напасешься!

И пошелъ, и пошелъ.

Я тѣмъ временемъ стоялъ черезъ улицу, приторговывалъ малину у разносчика. Слышу я, какъ Демьяновъ пуще и пуще приходитъ въ азартъ, а барышня совсѣмъ сробѣла и со всякой кротостью представляетъ ему резоны. Она ему „вы“, да „что вы“, да „пожалуйста“, а этакого буйвола нешто образованными словами проберешь? Не стерпѣла моя душа, перешелъ я черезъ улицу.

— Барышня, говорю, ступайте себѣ спокойно домой; а ты, Потапъ Демьянычъ, что озорничаетъ? И чтобы мою жилицу обижать, того я тебѣ никакъ не дозволю.

Крѣпко мы съ Демьяновымъ побранились, но съ той поры барышню и мою Анну Порфирьевну водой не разольешь.

Прихожу какъ-то домой, а жена ко мнѣ съ новостью.

— Анфиса Даниловна гостя ждетъ. Братецъ къ ней ѣдетъ на побывку.

— Это какой-же такой братецъ?

— Иванъ Даниловичъ. Они состоятъ въ Варшавѣ, въ полку, а сюда въ отпускъ ѣдутъ. Ужъ и рада-же Анфиса Даниловна! Господи!.. только и словъ: Ваня ѣдетъ, да Ваня ѣдетъ...

Точно, что барышню стало и не узнать: веселая такая, даже какъ будто помолодѣла — глаза блестятъ, съ щекъ желтизна сошла. Говорить безъ умолку, и все объ этомъ самомъ Ванѣ. Пречудные ея рассказы были: то-какъ ей этотъ Ваня десяти лѣтъ, глазъ подбилъ, то—какъ онъ маменькины часы разбилъ, а она на себя вину при-

иля, и ее, неповинную, высѣкли. И всѣ такого-же сорта: Ваня что-нибудь набѣдокурить, а Анфиса въ отвѣтъ. Порядочнымъ баловнемъ ростили малаго.

Явился, наконецъ, и Ваня, только не на радость Анфисѣ Даниловнѣ. Обѣщалъ онъ пріѣхать, а на самомъ-то дѣлѣ его привезли. Въ отдѣлку былъ готовъ бѣдняга! хотъ заживо панихиду ему пѣть. Барышня сама чуть жива осталась, какъ увидала брата въ такомъ состояніи:

— Да какъ-же я не знала? да давно-ли ты боленъ? да отчего не писалъ?.. Какъ же ты служилъ, если ты нездоровъ?..

— Я уже полгода, какъ не на службѣ, — отвѣчаетъ Ваня.

И оказались тутъ, господинъ, для нашей барышни бѣда и позоръ не малые. Иванъ Даниловичъ любилъ въ картишки поигрывать, это Анфиса Даниловна говорила намъ и раньше, — ну, наткнулся на какого-то шулера-нѣмчика, тотъ его и обчистилъ. Иванъ Даниловичъ отыгрываться, да отыгрываться; глядь, дошла очередь и до казеннаго ящика; ухнули въ карманъ жулика какія-то библиотечныя, что-ли, суммы... пустяковина, а пополнить-то ихъ неоткуда; какой кредитъ у офицера, коли онъ однимъ жалованьемъ живетъ, да еще и отъ игры не прочь? Думалъ, думалъ Иванъ Даниловичъ и додумался до грѣха: выпалилъ въ себя изъ пистолета... Оставилъ записку товарищамъ, что, молъ, такъ и такъ, не подумайте, друзья, что я подлець и воръ, а одно мое несчастье, прошу простить мое увлеченіе, плачу за грѣхъ своей жизнью... Однако, выходили его, не дали покончиться. Дѣло замаяли, потому что — гдѣ ужъ наказывать человѣка, коли онъ самъ себя наказалъ, и, хотъ не убили сразу, а все-таки жизнь свою сократилъ? Госпитальный докторъ прямо сказалъ, что Пестрядеву и года не про-

тянуть: легкія пуля ему попортила, видите-ли. Убрался онъ изъ полка, и поѣхалъ къ сестрѣ умирать.

Скажу вамъ, сударь, не слишкомъ то онъ мнѣ нравился, покойникъ, не тѣмъ будь помянуть. Первое, что хоть на кого грѣхъ да бѣда не живутъ, кто Богу не грѣшенъ, Царю не виновать, а все какъ-то мнителенъ я насчетъ того, ежели кто подъ мараль попадетъ, а второе—ужь больно онъ сестрицу свою пренебрегалъ: помыкалъ ею хуже, чѣмъ горничной... Недѣли двѣ, пока онъ былъ еще на ногахъ, куда ни шло, не очень командировалъ; а какъ слегъ въ постель, да пошли доктора и лѣкарства,—задурилъ хуже бабы. „Анфиса, подай! Анфиса, принеси! Анфиса, воды! Анфиса, лѣкарство! Анфиса, поди на кухню, сама сдѣлай бульонъ: кухарка не умѣетъ... Анфиса, не смѣй уходить: мнѣ одному скучно“... Бѣда! Горемычная барышня со всѣмъ съ ногъ сбилась. И жалко-то ей брата до крайности, и растерялась-то она. Даже и лицо у ней какъ-то измѣнилось за это время: все она, бывало, какъ будто ждетъ, что на нее крикнуть или дадутъ ей подзатыльникъ, все спѣшить, торопится; сколько посуды она за болѣзнь брата перебила,—бѣда! потому что не было такой минуты, чтобъ у ней руки не дрожали. Когда она спала, постичь не могу: Иванъ Даниловичъ страдалъ безсонницей, и, бывало, какъ ни проснешься ночью, звенить у нихъ въ квартирѣ колокольчикъ,—значить, больной требуетъ къ себѣ сестру.

Видалъ я ихъ вмѣстѣ. Уродуетъ эта чахотка человека: самъ онъ не свой становится; и не хочетъ злиться, а злится изъ-за всякой малости; и не хочетъ обижаться, а обижается, слезы сами текутъ изъ глазъ. Такъ вотъ и Иванъ Даниловичъ былъ самъ въ себѣ не воленъ; ругалъ онъ сестру походя, при мнѣ однажды пустилъ въ нее чашкой... даже мнѣ вчужѣ совѣстно стало. А Ан-

Фиса—какъ каменная, хоть-бы глазомъ мигнула. Онъ дается, а она подушки поправляетъ; дерется, а она лѣкарство наливаетъ. Вотъ, вѣдь, и робкая, и застѣнчивая какая была, а, когда надо стало, объявила свой настоящій характеръ.

Всегда она очень любила брата, но—чѣмъ онъ особенно ее растрогалъ, такъ это своей исторіей съ полкомъ. Когда она стала упрекать брата, что онъ не пожалѣлъ себя, что вмѣсто того, чтобы стрѣляться, онъ-бы лучше прислалъ ей депешу, а она-бы ему выслала деньги, Иванъ Даниловичъ сказалъ.

— Хорошо. Прислала-бы ты деньги, выручила-бы на этотъ разъ, а завтра попался-бы мнѣ другой Феркель, и опять вышла-бы та же штука. Я свою проклятую натуру знаю. Потому и не далъ тебѣ знать. Я такъ рѣшилъ, что теперь я воръ по несчастію, а если у тебя начну деньги тянуть, такъ буду воръ-подлецъ, съ расчетомъ, да и братъ-то у тебя, Фиса, деньги—все равно, что снимать сумму съ нищаго.

Этими словами онъ ее и пронзилъ. Трогательно ей стало, какъ это братъ жизни не пожалѣлъ, а ее не захотѣлъ обидѣть.

Умеръ Иванъ Даниловичъ. Что тутъ, сударь, съ барышней дѣлалось—не перескажешь! Посвѣдѣла совсѣмъ, не плакала, а ревѣла - съ... вотъ вродѣ, какъ коровы ревуть, когда въ полѣ кровь найдуть!—и все безъ слезы, одинъ крикъ. Больше всего она проклинала себя, что „проспала Ваню“: умеръ-то онъ, изволите видѣть, ночью, никто и не слыжалъ... Вошла Анфиса Даниловна утромъ къ нему въ комнату, а онъ уже холодный. Она такъ и повалилась около постели. И совсѣмъ напрасно она себя на этотъ счетъ тревожила: лицо у покойника было такое мирное, спокойное, — должно быть, легко, пожалуй, даже, что и во снѣ умеръ.

Мѣсяцъ, другой—не утѣшается Анфиса Даниловна. Комнату эту, гдѣ Иванъ Даниловичъ умеръ, такъ и оставила, какъ при немъ: стула въ ней не перемѣнила; сама ее и убирала, и подметала, и стирала пыль съ вещей и книгъ; прислугѣ войти въ „Ванинъ кабинетъ“ Боже сохрани,—кротка-кротка барышня, а тутъ, ой-ой, какъ бушевала!.. Во время болѣзни покойнаго, она взяла себѣ привычку сидѣть у дверей его кабинета. Тутъ и кресло себѣ поставила, и рабочій столикъ. Сидитъ бывало, читаетъ или шьетъ; братъ позвонитъ—она тутъ, какъ тутъ. Теперь звонить было [некому, но она привычки своей не прекратила, и стало это кресло самымъ любимымъ ея мѣстомъ въ квартирѣ. Моя Анна Порфирьевна часто заходила ее провѣдать. Замѣтила она, что барышня отъ тоски желтѣетъ, таетъ день-о-дня.

— Вы бы,—говорить,—Анфиса Даниловна, доктора позвали: вы больны.

— Нѣтъ, Анна Порфирьевна, я здорова всѣмъ, только сердце у меня беспокойное. Какъ ночь, такъ оно у меня и начнетъ дрожать, точно осиновый листъ. Дрожить, дрожить... ажъ душно мнѣ отъ этого станетъ, и испарина по всему тѣлу...

— Какое-же это здорovie?! Нѣтъ, вы полѣчитесь...

Докторъ назвалъ болѣзнь Анфисы Даниловны какимъ-то мудренымъ словомъ. А она въ то время такъ извелась, что когда докторъ вышелъ отъ нея, я потихоньку зазвалъ его къ себѣ.

— Что,—говорю,—почтенный, очень плоха наша жилища? Насчетъ Ваганькова кладбища вы какъ полагаете?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ,—съ ея болѣзнию иной разъ сто лѣтъ живутъ, а иной разъ и не увидишь, какъ умираютъ. Въ сердцѣ у ней большія неправильности. Вы ее берегите, чтобъ она не волновалась, не пугалась... Вотъ брата она очень любила: хорошо-бы ее развлечь,

а то она только о покойникѣ и думаетъ, а думы эти болѣзнь ея усиливаютъ.

Стали мы барышню развлекать, однако, она на наши развлечения не поддавалась; засѣла дома—и ни куда ни ногой... Впрочемъ, на мои именины пришла къ намъ честь-честью, поздравила меня, усѣлась чай пить. Сидимъ, бесѣдуемъ, только вдругъ, надъ головою—топъ! топъ! топъ!.. А наша столовая какъ разъ приходится подъ покойниковой комнатою.

Какъ вскрикнетъ наша барышня, какъ затрепещется! чашку оттолкнула, сорвалась съ мѣста.

— Вотъ, кричитъ, вотъ... вы меня зовете изъ дому: видите, уйти нельзя, — уже кто-то вошелъ, распоряжается...

Лицо стало багровое, глаза выскочить хотять — совсемъ не Анфиса Даниловна, а точно покойный Иванъ Даниловичъ, когда приходилъ въ гнѣвъ.

Побѣжала она къ себѣ на верхъ, а я за нею, такъ какъ вижу, что женщина внѣ себя, и если найдетъ причину въ кабинетѣ, не обойтись дѣлу безъ скандала и мирового. Входитъ въ квартиру — по черной лѣстницѣ: кухарки нѣтъ, и слышно, какъ она во дворѣ съ соседскимъ дворникомъ ругается черезъ заборъ. А тѣмъ временемъ въ покойниковой комнатѣ—трр!.. что-то грохнуло. Анфиса Даниловна побѣжала туда, какъ лвица какая-нибудь... а я остался,—и только что она за дверью скрылась, какъ изъ кабинета, за ея хвостомъ, что называется, шмыгъ наша Гашка. Я такъ и обмеръ: ну, — думаю,—замѣтитъ Анфиса Даниловна, кто у нея тамъ орудовалъ, во вѣки не простить!.. Бѣги, — говорю, — скорѣй, пострѣленою, пока не поймали! А Анфиса Даниловна въ ту-же минуту зоветъ меня.

— Иванъ Самсоновичъ! пожалуйста сюда.

Вошелъ я въ кабинетъ: чистота, порядокъ, портретъ

покойнаго на стѣнѣ... любоваться можно! Анфиса Даниловна стоитъ среди комнаты блѣдная, руками разводить...

— Здѣсь, — говорить, — никого нѣтъ, Иванъ Самсоновичъ.

— Точно такъ, — говорю, — Анфиса Даниловна.

— А, между тѣмъ, Иванъ Самсоновичъ, посмотрите: стулъ опрокинутъ, карандашъ на полу, бумаги разбросаны... Я этого не понимаю...

— И я тоже-съ.

Постояла она этакъ, постояла, покачала головой, пожевала губами, да, вдругъ — на колѣни передъ образомъ, и давай класть поклоны. Я вижу, что человѣкъ молится, — зачѣмъ-же ему мѣшать?.. Вышелъ тихонько.

Гашкѣ я задалъ хорошую гонку.

— Зачѣмъ тебя туда, ненужная, занесло?

— Да мнѣ, дяденька, любопытно было, отчего Анфиса Даниловна никого не пускаетъ въ Иванъ Данилычеву комнату. Я и забралась, а, какъ услышала, что вы идете, испугалась и спряталась за шкафъ. Анфиса Даниловна меня не замѣтили, я у нихъ за спиной выскочила за дверь, да вамъ и попалась... '

И что-же, сударь? Вѣдь, вотъ, кажись, пустяки это сущіе, — однако, изъ-за пустяковъ этихъ пропала наша Анфиса Даниловна! Вообразилось ей, что это самъ покойникъ приходилъ съ того свѣта въ свой кабинетъ.

Э, думаю, съ такими мыслями въ головѣ ты, матушка, пожалуй, еще и въ Преображенскую больницу угодишь...

— Анфиса Даниловна! — говорю, — голубушка! Статочное-ли вы дѣло говорите? Иванъ Даниловичъ вашъ теперь со духи праведны скончавшеся, а вы его заставляете скитаться по землѣ, какъ стѣнь какую-нибудь. Это только ежели кто въ смертельномъ грѣхѣ помретъ, или самъ на себя руки наложить, или опойца — такъ

точно, того земля не принимаетъ, потому анафема проклять во вѣки вѣковъ, а братецъ вашъ отошли во всемъ аккуратѣ, благородно, по чину... Да ужъ, коли у васъ такое смѣненіе чувствъ отъ этого случая произошло, такъ позвольте я вамъ признаюсь, какъ было дѣло...

Разсказалъ. Она только улыбнулась.

— Спасибо вамъ, Иванъ Самсоновичъ, что вы такъ обо мнѣ заботитесь, хотите меня успокоить: даже Гашу свою не пожалѣли для меня, обидѣли... только вы напрасно наговариваете на дѣвочку... вамъ меня не обмануть. Мнѣ самъ братъ сказалъ, что это онъ былъ... Я его теперь каждую ночь вижу во снѣ.

Жутковато мнѣ стало.

— Какъ же это-сь?..—спрашиваю.

— Какъ засну, такъ онъ и встанетъ передъ глазами. Сердитый онъ былъ въ тотъ разъ... Ты, говорить, ушла, а я безъ тебя скучалъ... ты не думай, что если я померъ, такъ ужъ и нѣтъ меня: я всегда около тебя...

— Что насчетъ Гаши я вамъ сказалъ,—тому вѣр-те-сь, а вотъ что покойниковъ вы видите во снѣ,—это нехорошо...

— Да, къ смерти...

— Нѣтъ, не то что къ смерти...

— Ужъ повѣрьте, что такъ, Иванъ Семеновичъ!.. У насъ былъ съ нимъ разговоръ. Я спрашиваю: Ваня! скоро я умру?.. А онъ мнѣ въ отвѣтъ языкъ показалъ... и потомъ ужъ другое начало сниться...

И такъ она внятно выговорила всѣ эти слова, что я даже по угламъ озираться сталъ, — неравно Иванъ Даниловичъ и мнѣ языкъ откуда нибудь покажетъ...

Пришла весна. Гашку нашу и не затацишь со двора въ комнаты. Дворъ зеленый, мягкій; играетъ дѣвченка съ сосѣдской ребятаежью по цѣлымъ днямъ. Береза у

меня во дворѣ растеть,—несуразная, да суковатая такая, Богъ съ ней! а ребятамъ утѣшеніе: лазять по ней, какъ бѣлчата. Я ее раза три рубить собирался, да то ребята упростили, то жена, то Анфиса Даниловна: покойникъ очень эту березу одобрялъ, — сучья - то прямо въ окна ему упирались... Ну, и то сказать, дерево при домѣ, ежели на случай пожара, куда хорошо!.. Пожалѣвъ я березу—на свою голову.

Въ концѣ мая присылаетъ Анфиса Даниловна намъ письмо съ кухаркою. Добрые, молъ, хозяева! навѣстите меня, потому что сегодня день моего рожденія, и проводить его мнѣ одной очень грустно. Приходите, пожалуйста, повѣтому обѣдать...

Отправились мы съ Анютой. Я съ того разговора, какъ вамъ передалъ, не видался съ Анфисой Даниловной. Перемѣнилась - таки она! И не то, чтобы похудѣла или пожелтѣла,—ужь больше худѣть и желтѣть, какъ послѣ братниной смерти, ей было нельзя,— а какъ - то поглубило у ней лицо. Вотъ — видѣли у святыхъ вратъ блаженненькіе сидятъ, милостыни просятъ? Такъ на нихъ стало похоже. Мы говоримъ съ нею, а она — и не разберешь—слушаетъ или не слушаетъ... улыбается, глаза — то въ одну точку уставить, какъ быкъ на прясло, то — и не догадаешься, куда она ихъ править: знай — перебѣгаетъ безъ толку взглядомъ съ вещи на вещь. У меня дядя запоемъ пилъ, такъ у него точно такой же взглядъ бывалъ, когда ему черти начинали мерещиться!.. И никогда у нея прежде не было этой манеры ротъ развѣвать; а теперь, — чуть замолчить, да задумается, — глядь, челюсть и отвисла... Смотрю я на нее — чуть не плачу: такая беретъ меня жалость! дѣвица-то ужь больно хорошаго нрава была!

Пообѣдали мы честь честью, — потомъ перешли въ гостиную, Анфиса Даниловна съ Анной Порфирьевной

плетуть бабьи разговоры, а я по комнатѣ хожу, дѣлаю моціонъ; такая ужь у меня привычка, чтобы прохаживаться, поѣвши. Пощупалъ я ручку на двери въ распроклятый этотъ кабинетъ: заперто. То-то!—думаю,—такъ-то лучше: сны снами, а запирается не мѣшаетъ; тогда, пожалуй, не будутъ и стулья опрокидываться, и карандаши падать со стола...

Но только, что я это подумалъ, слышу, что за дверью какъ будто шорохъ какой-то,—не то шепчутся, не то смѣются... Я и сообразить не успѣлъ, въ чемъ дѣло, какъ вдругъ въ кабинетъ—звонокъ, да порывистый таковой, съ раскатомъ, точь въ точь, какъ повойникъ звонилъ... Меня, знаете, такъ и отшибло отъ двери, а Анфиса Даниловна вскочила съ мѣста:

— Что это? что это?..

Машетъ руками, глаза изо лба выпрыгнуть хотять—бѣлые совсѣмъ, прозрачные, какъ стекло... Сколько, кажись, не было у нея крови въ тѣлѣ, вся прилила къ лицу, и сдѣлалось оно отъ того совсѣмъ синее; на шеѣ жилы вздулись, какъ веревки.

А звонокъ вдругорядъ.. въ третій разъ... потомъ—бухъ о дверь! словно съ сердцемъ бросили его; звякнулъ и замолчалъ.

Какъ вскрикнетъ наша барышня:

— Ваня!.. иду!.. сейчас!.. Ваня!..

Подбѣжала къ двери, вынула ключъ изъ кармана, а въ замочную-то скважину попасть и не можетъ... ткнула раза два мимо, застонала, да и упала прямо лицомъ на дверь... Тутъ ей и смерть приключилась. Анатомили ее потомъ: умерла, царство ей небесное, какъ разъ тою самою мудреной болѣзнию, что докторъ насъ преудпреждалъ...

Горько намъ было потерять Анфису Даниловну, а особенно горько, что опять-таки не кто другой въ ея

смертномъ часѣ виновать, какъ наша Гашка. Забрались они съ такимъ-же сорванцомъ сосѣдскимъ мальчишкой по березѣ до самаго покойникова окна. А Анфиса Даниловна, какъ провѣтривала съ утра комнату, такъ и оставила окно открытымъ. Гашку и осѣнило: сѣмъ-ка влѣземъ!.. Влѣзли Попался имъ на глаза колокольчикъ: давай, испугаемъ нашихъ!—и ну звонить. Точно, что испугали,—могу сказать!

Никогда я свою Гашку пальцемъ не трогалъ, но тутъ, надо признаться, выдралъ. До сего времени помнить. Потому, помилуйте! она, конечно, дурного въ умѣ не имѣла, — однакоже, какой грѣхъ произошелъ черезъ нее!.. Я свою Гашку люблю до страсти, и все безпокоюсь насчетъ этой ея исторіи, то есть въ смыслахъ возмездія-съ... И хоть приходскій нашъ батюшка очень урезонивалъ меня: какое же тебѣ возмездіе, ежели тутъ—видимый перстъ Провидѣнія?—однако, я какъ-то... того!.. и посейчасъ въ сомнѣніи. Поэтому, я и охочъ рассказывать свою бѣду добрымъ людямъ, кто не скачетъ слушать, хоть рассказывать-то ее, пожалуй, и не очень гоже: мало-ль, что другой подумаетъ? Что-же дѣлать, коли у меня душа горитъ, и совѣсть ободренія проситъ?.. Мы люди темные: гдѣ намъ въ одиночку разобраться съ собою? На міру-то оно виднѣе: что—перстъ, что—не перстъ...



РАЗРЫВЪ.

Уголовно-психологическій этюдъ.

Иванъ Карповичъ Тишенко давно уже очнулся отъ послѣобѣденнаго сна, но все еще сидѣлъ на кровати, зѣвалъ, тупо вглядываясь въ свѣтовую полосу, брошенную, сквозь полуотворенную дверь, на полъ темной спальни лампами столовой, и злился—безпричинно, тяжело, надутю, какъ умѣютъ злиться только полнокровныя и съ дурнымъ пищевареніемъ люди, когда доспать до прилива къ головѣ. Его раздражало—то, зачѣмъ онъ такъ долго спалъ, то, зачѣмъ его разбудили. Шумъ самовара, звяканье чашекъ въ столовой били его по нервамъ. Хотѣлось сорвать злость хоть на чемънибудь. Ивана Карповича уже три раза звали пить чай; дважды онъ промолчалъ, а на третій разъ сердито крикнулъ:— „знаю! слышалъ! можно, кажется, не приставать, пощадить человѣка!“—и, хоть чаю ему хотѣлось, нарочно, на зло просидѣлъ въ темнотѣ еще нѣсколько минутъ. Наконецъ всталъ, накинулъ халатъ, вдѣлъ ноги въ туфли, — и, при первомъ же шагѣ, споткнулся на что-то. Подвинулъ, посмотрѣлъ: старый женскій башмакъ.

— Бросаетъ тутъ... гадость какая! — съ сердцемъ проворчалъ онъ и швырнулъ башмакъ въ уголъ.

По тому, какъ порывисто Иванъ Карповичъ хлебалъ съ блюдечка горячій чай, громко кусая сахаръ, и по

толстой сердитой морщинѣ на его лбу, Аннушка, домоправительница Тишенко, догадалась, что баринъ сильно не въ духѣ. Она испуганно молчала, исподлобья и украдкой поглядывая на Ивана Карповича блестящими голубыми глазами. Иванъ Карповичъ поймалъ одинъ изъ этихъ робкихъ взглядовъ...

— Позвольте васъ спросить, — ехидно и рѣзко сказалъ онъ, глядя въ сторону, — долго-ли мнѣ еще пріучать васъ къ порядку? Расшвыриваете у меня въ комнатѣ обувь свою прелестную... очень мило!.. Ко мнѣ ходятъ товарищи, порядочные люди; коли сами срамиться желаете, срамитесь, но меня срамить я вамъ запрещаю.

Аннушка испугалась еще больше, покраснѣла, какъ кумачъ, и едва не уронила изъ задрожавшихъ рукъ чайникъ.

— Виновата, Иванъ Карповичъ... сейчасъ приберу, забыла...

Она вышла. Иванъ Карповичъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ и презрительно покачалъ головой. Ему было досадно, что Аннушка и на этотъ разъ проявила обычную, много лѣтъ знакомую ему покорность, не возразила и не дала ему отвести душу въ легкой ссорѣ. — „Фу, какъ глупа и тупа!“ — подумалъ онъ, — самыхъ простыхъ и первоначальныхъ правъ своихъ не понимаетъ, а туда же еще зовется женщиной! Какая это женщина? такъ, — красивый кусокъ мяса“...

Напившись чаю, Иванъ Карповичъ взялъ шапку и, не взглянувъ на Аннушку, вышелъ со двора.

Онъ отправился въ гости къ своему сослуживцу Бѣлоносову. Бѣлоносовъ — человекъ семейный и обремененный дѣтьми, жилъ тѣмъ не менѣе открыто; у него сидѣло на шеѣ четыре взрослыхъ дочери: ради ихъ устройства Бѣлоносовъ принималъ гостей больше, чѣмъ желалъ и былъ въ состояніи. Иванъ Карповичъ нашелъ у

него большое общество — все молодежь. — „Приятно проведу время“, — рѣшилъ онъ, и недавней досады какъ не бывало. Онъ сдѣлался и веселъ, и развязенъ, разсказалъ Бѣлоносому служебный анекдотъ, мадамъ Бѣлоносовой сообщилъ рецептъ отъ ревматизма, а, когда барышни затѣяли *petits jeux* и танцы подъ фортепiano, оказался самымъ дѣятельнымъ и интереснымъ кавалеромъ вечера. Танцую кадрили съ младшей Бѣлоносовой, Линой, красивой дѣвушкой, похожей на Тамару съ извѣстной гравюры Зичи, Тишенко смѣшилъ свою даму каламбурами, допытывался, въ кого она влюблена, сказалъ ей про ея сходство съ Тамарой. Барышня смѣялась и не безъ интереса поглядывала на своего кавалера. Однако старики Бѣлоносовы, наблюдавшіе танцующихъ взорами и умиленными, и дѣловыми вмѣстѣ, строили довольно кислыя гримасы, когда на глаза имъ попадались Лина и Тишенко въ парѣ. Послѣ кадрили мать отозвала Лину.

— Ты съ Тишенко не танцуй, — внушила она, — онъ, конечно не дурень собой и умѣетъ держаться въ обществѣ, но онъ женатый, хоть и врозь съ женой живетъ. Про него ходятъ нехорошіе слухи. Нечего тебѣ, дѣвушкѣ, съ нимъ знаться.

И во весь вечеръ Тишенко не удалось уже ни слова сказать съ м-ле Бѣлоносовой.

Возвращался домой Иванъ Карповичъ поздно и немного пьяный. По дорогѣ имъ опять овладѣли злыя, мрачныя мысли.

— Завидно, право, завидно, — думалъ онъ, — умѣютъ же люди жить! Какой нибудь Бѣлоносозъ — что онъ? тля, безпросвѣтный чинуша. По службѣ идетъ скверно, у начальства числится въ круглыхъ дуракахъ, необразованъ... а вотъ пооди же ты, какъ у него хорошо! Жена, дочери, приличное общество... ахъ, какое это ве-

ликое дѣло! Право, въ семьѣ онъ даже не такъ глупъ кажется,—что значить свое гнѣздо! И себѣ спокойно, и люди уважають.

Онъ гнѣвно отбросилъ носкомъ сапога попавшійся подъ ноги камень.

— А вотъ меня не уважають,—продолжалъ онъ,—да, по правдѣ сказать, не за что и уважать. Что въ томъ, что я университетскій, и голову на плечахъ имѣю, и собою не уродъ? Университетскій, а служу въ такомъ учрежденіи, что, бывало, и назвать то его конфузился: такъ его Щедрины разные заплевали... Служу, у начальства на лучшемъ замѣчаніи, награды получаю,—ничего, не претить! Идеалы прежніе — тю-тю! выдохлись! Даже и не вспоминаешь никогда прошлаго—нарочно не вспоминаешь, потому что, какъ сообразишь, сколько было тогда мыслей въ головѣ и огня въ сердцѣ, и какая осталась теперь пустота и тамъ, и тамъ,—такъ даже жутко дѣлается. Да!.. старое ушло, а новаго ничего не пришло. Зависть беретъ даже на Бѣлоусовыхъ. У нихъ, какое ни есть, а все житье-бытье: ругайте его филистерствомъ, мѣщанствомъ, — все-таки люди хоть спокойны, пожалуй, даже и счастливы. У меня же вся жизнь—какое то тупое прозябаніе съ злостью въ пережку. Опустился, чортъ знаетъ до чего!

Онъ почти подходилъ къ своей квартирѣ.

— Эта Линочка слишкомъ замѣтно перемѣнилась ко мнѣ сегодня. Ей, должно быть, сказали про меня какую-нибудь мерзость. Вѣдь, у этихъ филистеровъ сплетень не оберешься. Мѣщанское счастье строится на мѣщанской добродѣтели, а мѣщанская добродѣтель—на кодексѣ изъ сплетень и предразсудковъ. Меня въ такихъ кружкахъ принимаютъ скрѣпя сердце, потому что я—сослуживецъ и человѣкъ нужный; потому еще, пожалуй, что я умѣю быть забавнымъ, расшевеливать веревоч-

ные нервы ихнихъ Сонь, Лизь, Лель... а спросите-ка хоть тѣхъ же Бѣлоносowychъ: что за птица Тишенко? — пойдеть писать губернія! Жену бросилъ, ведеть безнравственную жизнь... Ну, и бросилъ! ну, и веду, чтобъ вы всё пропали!..

Онъ, злобно закусивъ губы, позвонилъ у своего подъѣзда. Ему не отворяли. Иванъ Карповичъ вынулъ изъ кармана квартирный ключъ и самъ отперъ дверь...

— Анна спить... „сномъ сморило“, — брезгливо засмѣялся онъ,—тѣмъ лучше, разговоровъ не будетъ. А то началось бы: гдѣ вы, Иванъ Карповичъ, побывали? да весело ли вамъ было? да отъ чего отъ васъ духами пахнетъ?.. Ахъ, несчастье мое! Вотъ изъ-за кого пропала моя репутація. Пока не было Анны—куда еще не шло: ругали меня, но были и защитники. Иные даже считали меня несчастной жертвой супружескихъ недоразумѣній... Обзавелся этимъ сокровищемъ,—и пошелъ крикъ: Тишенко совсѣмъ опустился, связался съ мѣщанкой... тѣфу!.. И что я въ ней нашелъ? Богъ мой, Богъ мой! какъ она нелѣпа и скучна! Какъ можно было такъ дико увлечься, взять ее въ домъ? А, вѣдь, стыдно вспомнить — было время, когда я ползалъ на колѣняхъ, платьѣ ея цѣловалъ.

Тишенко съ отвращеніемъ и страданіемъ поморщился, и жалѣя себя, и брезгуя собою въ прошломъ, Онъ провелъ бессонную ночь, и, когда утромъ Аннушка постучала въ дверь спальни, буди барина на службу, то на этотъ стукъ въ умъ Ивана Карповича отвѣтила уже твердо сложившаяся мысль.

— Нѣтъ, баста! надо отдѣлаться отъ Анны: надоѣла!

Однако, дня два-три послѣ того Иванъ Карповичъ не находилъ въ себѣ силы нанести первый ударъ этому кроткому—и безропотному, и безпомощному созданію. Безволие, несносная назойливость совѣстливости драз-

нили его и выводили изъ себя. Все время онъ былъ невозможенъ: придирался къ пустякамъ, ругался, кричалъ, только что не дрался. Аннушка, запуганная до полусмерти, ничего не понимая, въ конецъ растерявшись, не знала, какъ быть и, что дѣлать, и въ тяжелыя минуты грубыхъ сценъ отдѣлывалась своимъ обычнымъ молчаніемъ, трусливо вздрагивая при окрикахъ. Порою глаза ея заплывали слезами, но плакать она не рѣшалась: Иванъ Карповичъ не терпѣлъ слезъ. Наконецъ Тишенко рѣшился.

Онъ получилъ легкій выговоръ по службѣ и пришелъ домой къ обѣду, бурый отъ разлившейся желчи.

— Анна!—сурово сказалъ онъ, — мнѣ надо поговорить съ тобой.

Пока Тишенко обиняками намекалъ о необходимости разойтись, Аннушка стояла, прислонившись къ дверной притолкѣ, и перебирала пальцами складки передника. По лицу ея и потупленнымъ глазамъ не видно было, понимаетъ ли она барскія слова. Тишенко говорилъ сперва довольно мягко; онъ нѣсколько разъ прерывалъ рѣчь, выжидая, не вставитъ ли Аннушка слово, но она молчала. Мало-по-малу Иванъ Карповичъ началъ горячиться и наконецъ вскрикнулъ уже совсѣмъ злобнымъ голосомъ:

— Ты мнѣ не нужна больше... Я тебя разлюбилъ... Уходи! Понимаешь?

— Вся ваша воля... — отвѣтила Аннушка, стоя все также съ понуренной головой и опущенными глазами.

Иванъ Карповичъ былъ озадаченъ. Онъ ждалъ, если не отчаянной сцены, то хоть слезъ. Ему самому очень трудно далось это объясненіе и по себѣ онъ судилъ, какъ должно быть тяжело Аннушкѣ.

— Вотъ и прекрасно, вотъ и умница, — бормоталъ онъ, — и... и я очень радъ, что мы расстаемся друзьями. Я, конечно, имѣю въ отношеніи тебя обязанности... и

человѣкъ увлекающійся, но честный, и помогу тебѣ устроиться...

— Нешто вы хотите прогнать меня?—перебила Аннушка, поднимая глаза. Тищенко изумленно развелъ руками.

— Я отъ васъ, Иванъ Карповичъ, не уйду,—продолжала Аннушка, и губы ея сжались такъ крѣпко, въ глазахъ засвѣтилась такая твердая рѣшимость, что Иванъ Карловичъ растерялся. Оба молчали.

— Какъ же ты не уйдешь?—началъ Тищенко сдержаннымъ тономъ, медленно и солидно,—если я тебѣ говорю, что незачѣмъ намъ жить вмѣстѣ, что я тебя разлюбилъ..

Аннушка снова потупилась.

— Меня-то, небось, вы не спросили, разлюбила-ли я васъ...—тихо молвила она. Иванъ Карповичъ сконфузился.

— Очень мнѣ надо!—съ откровенной досадой проворчалъ онъ.

— Мнѣ отъ васъ итти некуда, Иванъ Карповичъ!—говорила Аннушка, глядя ему въ лицо,— я безродная: вся тутъ, какъ есть. Крестъ на шеѣ, да душа—только у меня всего имущества; гдѣ моя душа пристала, тамъ мнѣ и быть. Что вы меня разлюбили—это ваша воля, а уйти отъ васъ мнѣ никакъ нельзя... Помереть лучше...

— Скажите, какъ трогательно!—прервалъ Тищенко,—не беспокойся, матушка, цѣла будешь. Повторяю тебѣ: я человѣкъ не дурной и о тебѣ позабочусь. На улицѣ не останешься. Прачечную, бѣлошвейную, модную мастерскую открой — что хочешь... Я тебя поддержу. А не то просто деньгами возьми.

— Не надо мнѣ ничего, Иванъ Карповичъ. Я не уйду.

Тищенко уговаривалъ Аннушку, представлялъ ей резоны, просилъ, потомъ сталъ грозить, кричалъ, топо-

талъ ногами, потомъ опять просилъ, потомъ опять кричалъ, пока не свалился въ кресла, совсѣмъ обезсиле ный волненіемъ и гнѣвомъ, въ поту и осипшій.

— Охъ не могу больше!—въ отчаяніи застоналъ онъ, —пошла вонъ!..

Получасомъ позже Иванъ Карповичъ заглянулъ къ Аннушкѣ на кухню. Молодая женщина сидѣла за шитьемъ.

— Яухожу, Анна,—по возможности, спокойно сказалъ онъ,—вотъ смотри: я кладу на столъ конвертъ, здѣсь тысяча рублей, это твои... Прощай!.. не поминай лихомъ,—добромъ, правду сказать, не за что,—а главное, уходи! сейчасъ же уходи! Берегись, чтобы я тебя не засталъ, когда вернусь: не хорошо будетъ.

Аннушка затворила за бариномъ подъѣздъ, сѣла въ передней на стулъ и просидѣла неподвижно весь вечеръ, бессмысленно уставивъ помутившіеся, почти не мигающіе глаза на уличный фонарь за окномъ. Наступили сумерки, въ фонарь вспыхнулъ газъ,—Аннушка сидѣла, какъ мертвая, не мѣняя ни позы, ни выраженія въ лицѣ. Она не спала, потому что ничего не уразумѣвала изъ того, что видѣла. Мысль всегда шевелилась въ ея простоватой головѣ не очень-то бойко, а теперь эта голова была, какъ будто, совсѣмъ пустая: тяжелое, точно свинецъ, безмысліе царило въ пораженномъ внезапной бѣдою мозгу...

Поздней ночью Иванъ Карповичъ нашелъ ее на томъ же самомъ мѣстѣ и оцѣпенѣлъ отъ изумленія.

— Да, что ты шутиа со мною шутишь?!—закричалъ онъ, хватая Аннушку за плечо... Она очнулась, перевела свои глаза—неподвижные, съ страннымъ тусклымъ свѣтомъ зрачковъ—на красное, искаженное гнѣвомъ лицо Тишенко, и, какъ спросонья, пролепетала:

— Не... пой...ду...

Казалось, она продолжала давешній разговоръ, точно онъ и не прерывался для нея...

— У нея были голубые глаза, а теперь какіе-то сѣрые, свинцовые...—подумалъ Тищенко;—эта переменна покоробила его не то страхомъ, не то отвращеніемъ,—ему стало жутко. Онъ ушелъ въ спальню въ глубокомъ недоумѣніи, совсѣмъ сбитый съ толку поведеніемъ Анны. Сдѣлай любовница ему скандалъ, ударь его ножомъ, подожги квартиру,—онъ зналъ бы, какъ себя вести, но ея нѣмое, страдательное упорство, парализовало его собственную мысль и волю. Анна знаетъ, что Тищенко — человѣкъ раздражительный до самогубствія; года два тому назадъ, въ минуту бѣшенства, онъ изъ-за какихъ-то пустяковъ пустилъ въ нее гимнастической гирей фунтовъ пятнадцать вѣсомъ... какъ только Богъ ее уберегъ! — знаетъ, а все-таки играетъ съ нимъ въ опасную игру. Что за дурь на нее нашла? аффектъ у нея что ли, какъ теперь принято выражаться? Вздоръ!—громко подумалъ Иванъ Карповичъ,—какіе у нея аффекты!.. Аффекты докторишками и адвокатишками выдуманы, чтобы перемывать разныхъ мерзавцевъ съ чернаго на бѣлое... Просто, притворствуется и ломается... Знаемъ мы!

Мысль о притворствѣ Аннушки понравилась Ивану Карповичу; онъ съ удовольствіемъ остановился на ней.

— Погоди же!—волновался онъ,—утромъ я тебѣ покажу, какъ играть комедіи. Не уходишь честью, — за городовымъ пошлю... да!.. Ночью не стоитъ заводить исторію, а чуть свѣтъ...

Спать онъ не могъ. Фигура Аннушки, понуро сидящей въ передней, медленно плавала передъ его глазами, отгоняя дремоту отъ его изголовья.

— Боюсь я что ли ее?—проворчалъ онъ, и гордость гнѣвно забушевала въ немъ.

Бессонница продолжалась, тоска и гнѣвъ росли; къ нимъ прибавилась головная боль съ сердцебіеніемъ, стукотней въ виски, дурнымъ вкусомъ во рту... Иванъ Карповичъ не вытерпѣлъ, вскочилъ съ постели, накинულъ халатъ и пошелъ провѣдать Аннушку. Та же неподвижная фигура на стулѣ встрѣтила его тѣмъ же стекляннымъ взглядомъ... Не спать!..

Тишенко открылъ ротъ, чтобы выбраться, но оскѣся на полусловѣ. Морозъ побѣждалъ мурашками у него по спинѣ, волосы на головѣ зашевелились... Онъ быстро отвернулся и почти побѣжалъ назадъ въ спальню. Когда онъ сѣлъ на кровать, то почувствовалъ, что его бьетъ сильная лихорадка — все тѣло мерзнетъ и дрожитъ, точно въ каждую жилку его вмѣсто крови налита ртуть. Онъ слышалъ, какъ бьется сердце—часто и гулко, словно въ пустотѣ, и ему, дѣйствительно, казалось, будто въ груди его образовалась какая-то огромная яма, гдѣ медленно поднимается и опускается, какъ шаръ, истерическое удушье...

— Я, кажется, очень испугался... шепталъ онъ, уткнувъ лицо въ подушку, но не смѣя погасить свѣчу,—это... это очень странно и глупо... никогда въ жизни я ничего не боялся... но она такая чудная... О, подлая! до чего доведла!—вскрикнулъ онъ со скрипомъ зубовъ, всталъ и принялся ходить по спальнѣ.

Ходьба помогла ему. Истерическій шаръ отошелъ отъ горла. Иванъ Карповичъ ходилъ, думалъ и удивлялся: обыкновенно, онъ размышлялъ сосредоточенно, солидно и нѣсколько медлительно—теперь же въ головѣ его кружился такой быстрый и беспорядочный вихрь думъ, желаній и плановъ, что ему даже странно дѣлалось, какъ одинъ случай можетъ породить такое громадное и неугомонное движеніе мысли.

Взошло солнце. Къ восьми часамъ Ивану Карпови-

чу надо было идти на службу. Онъ вспомнилъ объ этомъ, когда часы пробили уже девять. Онъ не изумился и не испугался своей просрочки, хотя за опоздание его, навѣрное, ждалъ выговоръ: и служба, и начальство были далеки и чужды ему въ эти минуты. Онъ машинально одѣлся, взялъ портфель, вышелъ. Но предъ дверью въ переднюю его остановила трусость, властная, какъ сумасшествіе, и — какъ съ затаенной сердечною дрожью представилъ себѣ Иванъ Карповичъ — похожая на его начало. Тишенко чувствовалъ себя рѣшительно не въ состояніи увидеть Аннушку еще разъ такую, какъ минувшей ночью. „Если у нея глаза открыты, — размышлялъ онъ, — я не знаю, что сдѣлаю... либо закричу на весь домъ, либо ударю ее, чѣмъ попало. Не пройти ли лучше чернымъ ходомъ? — Но гордость его возмутилась противъ этой мысли. Хоть и нерѣшительнымъ шагомъ, онъ все-таки вошелъ въ переднюю. Аннашка спала сидя, откинувъ голову на спинку стула, повѣсивъ руки, какъ плети.

Лицо ея было желто, брови хмурились, ротъ раскрылся. Иванъ Карповичъ остановился было пристальнѣе разглядѣть Аннашку: что въ ней такъ сильно напугало его ночью? — но вѣки спящей задрожали, и весь ночной ужасъ сразу вернулся къ Тишенко; онъ выскочилъ на подъездъ, крѣпко захлопнулъ за собой дверь, и зашагалъ по тротуару, какъ будто убѣгая отъ злой погони.

На службѣ Иванъ Карповичъ работалъ старательно, какъ всегда. Когда часовая стрѣлка приблизилась къ тремъ, возвѣщая скорый конецъ присутствія, онъ подошелъ къ своему сослуживцу Туркину, тоже среднихъ лѣтъ холостяку и бобылю:

— Ты гдѣ обѣдаешь сегодня?

— У себя, въ „Азія“... а что?

— Прими меня въ компанію, у меня дома обѣдъ не готовленъ.

— Послушай-ка, Иванъ Карповичъ, — спрашивалъ за обѣдомъ пріятеля Туркинъ, — или тебѣ нездоровится? Молчишь, лицо у тебя зеленое, глаза какъ у Пугачева. Нервы что-ли? Такъ ты ихъ водочкой, водочкой.

Подъ вечеръ Туркинъ звонилъ у подъѣзда Тишенковой квартиры. Аннушка отворила ему.

— Что мнѣ вралъ Тишенко? — подумалъ Туркинъ, — ничего въ ней нѣтъ особеннаго... такая же, какъ была.

— Ну-съ, Анна Васильевна, — бойко и развязно заговорилъ онъ, усаживаясь въ пальто и шляпѣ на подоконникъ передней, — я къ вамъ отъ Ивана Карповича. Онъ вами очень недоволенъ. Не хорошо-съ, душа моя, очень не хорошо-съ. Иванъ Карповичъ поступаетъ съ вами по благородному, а вы вмѣсто того ему дѣлаете разстройство. Ежели сказано вамъ: уходите, — значить, и надо итти, пока честью просятъ, а то можно и городского пригласить. Иванъ Карповичъ только шума не желаетъ, васъ жалѣя, — такъ вы это и дѣньте! Забирайте свои пожитки и... это что-же должно обозначать?!

Аннушка, не слушая Туркина, повернулась къ нему спиной и пошла во внутренніе покои. Туркинъ за нею. Онъ горячился, убѣждалъ, размахивалъ руками. Аннушка посмотрѣла на него, и онъ смутился и замолкъ.

— Ну пойдю... услышалъ Туркинъ ея хриплый шопотъ.

— Чортъ знаетъ, что такое! — разсуждалъ онъ, безпомощно стоя среди комнаты и постукивая цилиндромъ о колѣно, — что съ ней станешь — будешь дѣлать? Въ самомъ дѣлѣ, чудная какая-то... ишь глядитъ! И впрямь за городовымъ не сходить-ли? Такъ скандалъ будетъ, до начальства дойдетъ... нѣтъ, ужъ это — мерси покорно! Ну ее совсѣмъ и съ Иванъ Карповичемъ! Своя рубашка ближе къ тѣлу! Пусть сами, какъ хотятъ, такъ и справляются со своими глупостями.

— Ну, братъ, — сконфуженно говорилъ Туркинъ входя въ свой номеръ, гдѣ давно поджидалъ его Тищенко за пѣлой батареей пивныхъ бутылокъ, — упрямится, твоя Меликтриса... и слушать не стала! .

Онъ разсказалъ, какъ было дѣло.

— По моему, одинъ тебѣ способъ: возьми ты ее изморомъ. Номеръ у меня большой — живи... недѣлю - другую не покажешься, небось, не стерпитъ, уйдетъ... Да ты слушай, коли я говорю! Куда глядишь то? о чемъ думаешь?

Иванъ Карповичъ тупо посмотрѣлъ на Туркина.

— Это ты хорошо сдѣлалъ, — сказалъ онъ.

— Что?

— А вотъ... городского не надо...

Туркинъ взглянулъ въ его красное лицо и воспаленные глаза, сосчиталъ пивныя бутылки на столѣ и свистнулъ.

— Однако, Иванъ Карповичъ, ты, кажется, здорово „того“...

— Скажи ты мнѣ, Туркинъ, — тихо заговорилъ Тищенко, — что это у меня въ головѣ дѣлается?.. Словно у меня тамъ жила лопнула со вчерашняго дня... Я помню, когда былъ мальчишкой, такъ пульсовую жилу себѣ перехватилъ. Кровь хлещетъ, порѣзъ садитъ, а рука тяжелая — что каменная; столько изъ нея вытекаетъ, что кажется, ей бы легче да легче дѣлаться, а она наоборотъ, словно тяжелѣетъ пуда на два съ каждой минутой... Вотъ теперь у меня въ мозгу происходитъ какъ будто точь въ точь такая же штука... Съ тобою не бывало?

— Никогда. Съ какой стати? У меня, братъ, мозги легкіе. А тебѣ вотъ что скажу: ложился бы ты спать... мелешь съ пива, невѣсть что!..

На завтра Иванъ Карповичъ на службу не пошелъ.

Туркинъ, вернувшись изъ должности, опять нашель-пріятели за пивомъ.

— Вторую полдюжину почали, — сообщилъ ему коридорный.

— Запилъ! — подумалъ Туркинъ, — скажите! я и не зналъ, что съ нимъ это бываетъ... Ну, пускай его пьетъ! Если человѣку мѣшать въ такомъ разѣ, — хуже: надо ему свой предѣлъ выдержать...

Для Ивана Карповича наступала третья бессонная ночь. Просыпаясь по временамъ, Туркинъ неизмѣнно видѣлъ, что Тишенко бродилъ по номеру, бормочеть что-то, потомъ подходитъ къ столу и пьетъ стаканъ за стаканомъ.

— Кончилъ-бы ты эту музыку, — уговаривалъ его Туркинъ на другой день за обѣдомъ, — право, нехорошо; на себя непохожъ сталъ, не спишь... смотри: развинтишься въ конецъ... ну, и передъ начальствомъ неловко...

Иванъ Карповичъ, не слушая Туркина, протиралъ себѣ глаза.

— Попало что-нибудь?

— Красное... — не отвѣчая на вопросъ, сказалъ Тишенко.

— Что „красное“?

— Такъ... все. Это у меня бываетъ. Вдругъ заболитъ около темени, вискамъ станетъ холодно, а на лбу горячо... очень неприятно!.. и, на что ни поглядишь, — все красное... мутное и красное... Потрешь глаза — проходить... Брысь, подлая! — крикнулъ онъ, сбрасывая на полъ вскочившую на диванъ кошку.

— За что ты ее? Это наша номерная любимица... ее вся „Азія“ холить, — упрекнулъ Туркинъ.

— Терпѣть не могу, когда всякая дрянь мечется подъ руку во время ѣды...

— Самъ же ты ее прикормилъ за эти дни, а ругаешься.

— Хочу и ругаюсь. Не твое дѣло. Можешь обойтись безъ замѣчаній...

Туркинъ струсилъ: у Ивана Карповича губы были совсѣмъ бѣлыя, а голосъ звучалъ громко, грубо и отрывисто... „Навязалъ я себѣ щечку на шею! — подумалъ чиновникъ,—пойти, провѣдать то, другое сокровище... авось надумалась, сговорчивѣй стала!.

Но напрасно звонилъ онъ у Аннушки. Блѣдное лицо показалось на мгновенье въ оивѣ передней и, окинувъ Туркина невнимательнымъ взоромъ, скрылось...

— А Иванъ Карповичъ уснулъ,—доложилъ Туркину коридорный, по возвращеніи его изъ неудачной экскурсіи.—Послѣ вашего ухода они все серчали... даже бутылку на полъ бросили и мнѣ подмести не позволили... сами ругаются, а, промежду словъ, все этакъ глаза себѣ вытираютъ... а потомъ и задремали!..

— Спать — и славу Богу!.. стало быть, конецъ безобразію!—радостно воскликнулъ Туркинъ.

Быль второй часъ ночи; Туркинъ уже часа три, какъ былъ въ постели и видѣлъ прекрасные сны. Грезился ему чудный садъ съ яркимъ солнечнымъ свѣтомъ, пестрыми клумбами, желтыми дорожками... все было красиво, чисто, аккуратно,—одно не хорошо: въ эдемъ этотъ доносился откуда-то ревъ, не то звѣриный вой, не то гнѣвный человѣческій крикъ. Туркинъ оробѣлъ, началъ прислушиваться и вмѣстѣ съ тѣмъ просыпаться... Ревъ усилился, и Туркину стало совершенно ясно, что летитъ онъ не откуда-либо еще, а съ дивана, гдѣ вечеромъ уснулъ Иванъ Карповичъ. Въ ту же минуту Туркинъ слетѣлъ съ постели отъ сильнаго удара въ плечо и, перепуганный на смерть, увидалъ надъ собою, при свѣтѣ предъиконной лампадки страшное багровое лицо съ выкатившимися бѣлками глазъ... Лицо дергалось бе-

зобразными гримасами, кривя запекшійся ротъ, изъ котораго вырывался густой, басовый, совершенно животный вой!..

— Тишенко! что съ тобой?.. завизжалъ Туркинъ: — „допился!“—какъ молнія, мелькнула у него мысль...

— Иди къ ней! иди!—ревѣлъ Иванъ Карповичъ, чуть не ломая ему плечо желѣзными пальцами, — гони ее... о-о-о!.. изве... изве... ла... ме... ня... змѣ... змѣя...

Слова вылетали у него изъ гортани не слитно, а слогъ за слогомъ, какъ лай...

— Куда я пойду?—защищался Туркинъ, — сумасшедшій! опомнись! Теперь ночь...

— Не пойдешь? Ночь, говоришь, ночь! Ладно же! Я... я самъ... я пойду...—кричалъ Иванъ Карповичъ, колотя себя въ грудь и вдругъ, согнувшись въ половину своего большого роста, какъ звѣрь, шмыгнувъ за дверь номера, сбивъ съ ногъ спѣшившаго на ночной шумъ коридорнаго...

— Караулъ!—завопилъ вслѣдъ ему освобожденный Туркинъ,—но Тишенко уже сбѣгалъ по лѣстницѣ, качаясь, спотыкаясь о ступеньки, колотясь о перила. Онъ ничего не видѣлъ передъ собой — красная мгла застилала ему глаза,—но бѣжалъ впередъ по слѣпому неистовому инстинкту.

— Вошелъ? ты говоришь, вошелъ?—торопливо спрашивали дворника дома, гдѣ квартировалъ Тишенко, подспѣвшіе вслѣдъ за бѣшеннымъ, Туркинъ и околоточный...

— Какъ же: во дворъ прошли и прямо по черной лѣстницѣ...

— Что жъ ты его не держалъ? Развѣ не видалъ, что человекъ не въ себѣ?! — озлился околоточный.

— Да мнѣ и то чудно показалось, какъ это они безъ шапки...

— То-то „чудно“! А еще дворникъ... животное!.. Городовые! Карповъ! Филатовъ! ступай впередъ по лѣстницѣ, мы за вами...

Въ квартирѣ Ивана Карповича была тишь и темь. Околоточный чиркнулъ спичкою и освѣтилъ пустую кухню... въ сосѣдней комнатѣ—столовой валялся на полу подсвѣчникъ съ потухшей, разбитою на куски свѣчой... Туркинъ подобралъ огарокъ, зажегъ...

— Господи помилуй!—охнулъ дворникъ, и всѣ попятились: изъ дверей спальни катилась въ столовую черная широкая струя...

Аннушка — еще теплая и трепещущая — лежала за дверью съ проломленною головою. Орудіе убійства — утюгъ — Тишенко бросилъ тутъ же... Самого его нашли въ передней: сидя на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ недавно его напугала Аннушка, онъ *сталъ* крѣпкимъ сномъ съ самымъ спокойнымъ и довольнымъ выраженіемъ на утомленномъ лицѣ...

СКАЗКА ТЕМНОЙ НОЧИ.

Alles Vergänigliches
Ist nur ein Gleichnisz;
Das Unzulängliche
Hier wird's Ereignisz;
Das Unbeschreibliche
Hier ist es gethan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan!..

Goethe. Faust. II Theil. Chorus mysticus.

Вергинь былъ одинъ въ мрачномъ кабинетѣ своего стариннаго деверенскаго дома. За окномъ царилъ бурная зимняя ночь. Снѣжная вьюга визжала, ревѣла, выла; голыя вѣтви садовыхъ сиреней и акацій царапались въ запертыя ставни. Казалось, будто огромная стая полузамерзшихъ озлобленныхъ псовъ ломилась въ домъ, просясь къ теплу и свѣту. Вергинь не слышалъ бури. Онъ сидѣлъ передъ каминомъ въ глубокихъ дѣдовскихъ креслахъ, неподвижно глядѣлъ на медленно угасающее пламя и думалъ. Печальны и тяжелы были его мысли. Въ настоящую бурную ночь минуло ровно два года съ тѣхъ поръ, какъ Вергинь вступилъ хозяиномъ подъ кровлю этого дома — своего отцовскаго наслѣдія. Тогда онъ не былъ еще тѣмъ осунувшимся, почти что старикомъ, съ преждевременной сѣдиной на вискахъ и съ огромными впалами глазами

на морщинистомъ лицѣ, какимъ видѣлъ онъ себя теперь въ зеркалѣ надъ каминомъ. Тогда онъ вошелъ въ свой домъ съ гордо поднятой головой, здоровый, веселый, полный бодрыхъ надеждъ и, главное, рука въ руку съ молодой красавицей-женою.

Жизнь много и жестоко трепала Вергина. Страстный, непостоянный характеръ, пытливый умъ и жажда громкой дѣятельности и сильныхъ ощущеній долго мыкали его по свѣту, бросая его изъ города въ городъ, изъ страны въ страну, отъ предпріятія къ предпріятію, сводя его съ сотнями людей, обостряя его наблюдательность тысячами житейскихъ случайностей и столкновеній. Въ порывистомъ вихрѣ своей жизни Вергинъ видѣлъ больше зла и глупости, чѣмъ добра и ума, и, съ лѣтами, подъ давленіемъ опыта, по мѣрѣ того, какъ охлаждался его пылкій темпераментъ, — умъ его переполнялся все большимъ и большимъ недоувѣріемъ къ людямъ. Къ тридцати четыремъ годамъ Вергинъ — обнищавшій, разочарованный и разбитый на всѣхъ своихъ путяхъ, безъ любви къ кому бы то ни было, безъ уваженія къ обществу и его законамъ, не зная самъ, вѣруетъ-ли онъ хоть во что-нибудь, — влачилъ жалкое существованіе, и не разъ мысль о самоубійствѣ проплывала грозною волною въ его угрюмомъ умѣ. Но тайное предчувствіе говорило Вергину, что подъ охлаждающимъ пепломъ его сожженной, какъ костеръ на распутьи, души еще теплится слабый огонекъ, способный неожиданнымъ счастливымъ случаемъ разгорѣться въ яркое пламя и тепло озарить конецъ его жизни. И огонекъ точно вспыхнулъ: Вергинъ полюбилъ дочь небогатаго петербургскаго чиновника Лидію Александровну Лѣнцову, красивую, кроткую и умную дѣвушку, и вскорѣ женился на ней. Молодые начали свое супружество счастливыми предзнаменованіями. Отецъ Вергина, ранъ-

ше чуть не проклинавшій сына за скитальческій бытъ, помирился съ нимъ, когда онъ остепенился. Послѣ скорой смерти отца, Вергинъ, какъ его единственный наследникъ, снова сталъ состоятельнымъ человѣкомъ. Молодые переѣхали изъ Петербурга въ свое псковское имѣніе. Для Вергина, обновленнаго, точно ожившаго духомъ, настали счастливые дни; онъ любилъ жену жаркою, самозабвенною страстью и дорожилъ ея взаимностью, какъ утопающій дорожитъ соломинкой, за которую хватается. Въ немъ воскресла молодость, проснулся интересъ къ жизни, — и, въ благодарность за то, женщина, разбудившая Вергина отъ нравственной спячки, стала для него всѣмъ — его богомъ, его міромъ. Онъ почти молился на нее; ея желанія были его закономъ; кромѣ нея, онъ ничѣмъ не интересовался и былъ счастливъ тѣмъ, что его сердце — еще недавно холодное и суровое, какъ сумерки на кладбищѣ, — оказалось способнымъ на такую дѣтски-восторженную и дѣтски-до вѣрчивую любовь.

Лидія Александровна — маленькая блѣдная блондинка, въ ореолѣ золотыхъ кудрей вокругъ серьезнаго личика, съ внимательными покорными глазами — принимала любовь мужа тихо, словно стыдясь поклоненія, какое она вызывала въ сильномъ, умномъ и богатомъ опытомъ мужчинѣ. Это было нетребовательное, молчаливое и немножко робкое созданіе. На ея блѣдномъ, точно прозрачномъ, лицѣ лежалъ отпечатокъ странной мечтательности, присущей всѣмъ, кому не судьба долго заживаться на свѣтѣ, а фигурка у нея была слабая и хрупкая. Три мѣсяца спустя послѣ свадьбы, Лидія Александровна простудилась и умерла. Съ тѣхъ поръ послѣдній лучъ свѣта погасъ въ душѣ Вергина. Онъ заперся, какъ отшельникъ, въ домѣ, гдѣ отпѣли, откуда вынесли въ фамильный склепъ тѣло Лидіи. Настоящее для него

богѣ не существовало, въ будущее онъ не вѣрилъ, и умъ его жилъ лишь прошлымъ—воспоминаніями все о той же золотой синеглазой головкѣ съ кроткимъ, вдумчивымъ взглядомъ и блѣдными губками, на которыхъ всегда какъ будто застывали его поцѣлуи. Вергину грезилась эта головка всегда, вездѣ, и, любя ее мертвую, какъ живую,—онъ засыпалъ съ надеждою видѣть ее во снѣ, просыпался, чтобы вспоминать ее. Прислуга, сосѣди, знакомые—всѣ были увѣрены, что со смертью жены Вергинъ тронулся въ умъ; къ нему никто не ѣздилъ; онъ также ни къ кому.

Уголья въ каминѣ догорали, бросая красный зловѣщій отблескъ на стѣны, мебель и на утонувшую въ въ креслахъ фигуру хозяина. Утомивъ глаза червоннымъ блескомъ огня, Вергинъ опять подвигалъ ихъ на каминное зеркало и увидѣлъ въ немъ, кромѣ себя, другое отраженіе—странное, необычайное: отраженіе чего-то не похожаго ни на какое живое существо подлуннаго міра и все-таки какъ будто живого. Вергинъ не испугался, даже не вздрогнулъ,—онъ привыкъ къ этому видѣнію. Около года тому назадъ, оно впервые явилось Вергину въ этотъ же самый часъ, на этомъ же самомъ мѣстѣ, и съ того времени показывалось здѣсь ежедневно объ эту пору. Отъ стоявшаго насупротивъ каминна книжнаго шкафа, набитаго мистической библіотеккой масона—дѣда Вергина, отдѣлялась тѣнь въ родѣ сѣраго облака; потомъ въ облакѣ прояснился какъ будто чей-то обликъ, освѣщенный умнымъ, пристальнымъ и недобримъ взглядомъ. Если бы заставить Вергина описать свою постоянную галлюцинацію, онъ затруднился бы. Это была какая-то зыблющаяся стихійная тѣнь съ неяснымъ намекомъ на лицо; она была сѣрая; въ ней чудилось нѣчто сильное, красивое и злое,—вотъ все, что могъ бы сказать Вергинъ. Иногда обличье видѣнія

выяснилось рѣзче, иногда оно рисовалось блѣднымъ, едва замѣтнымъ пятномъ на черномъ фонѣ шкафа, и рѣзба послѣдняго явственно просвѣчивала сквозь этотъ фантастическій туманъ. Дважды Вергинъ подмѣтилъ въ призракъ странное содроганіе, похожее на улыбку: это — когда онъ явился въ первый разъ и заставилъ Вергина затрепетать отъ неожиданности и испуга; во второй разъ—когда, при возобновленіи видѣнія, Вергинъ, взявъ ученую книгу знаменитаго психіатра, посвященную вопросу о галлюцинаціяхъ, старался найти въ ней объясненіе своему призраку. Теперь Вергинъ настолько свыкся съ его присутствіемъ, что уже не старался даже понять его; когда призракъ — спокойный, сильный и молчаливый—выросталъ за его спиной, Вергинъ часто даже не сразу замѣчалъ его появленіе, погруженный въ свое тихое унылое горе.

Въ эту ночь Вергину снова и опредѣленнѣе прежняго почудилось движеніе въ призракъ: по облаку бѣгала рябь, какъ по водѣ отъ вѣтра, и таинственный образъ то ярко выступалъ изъ-подъ своей стихійной оболочки, то снова тускнѣлъ подъ нею.

— С... л... у... ш... а... й!..—низко, медленно, тягуче и глухо раздалось въ тиши кабинета,—словно кто-то заговорилъ далеко, за двумя-тремя стѣнами, но все-таки явственно и внятно. Вергинъ вздрогнулъ отъ изумленія и съ невольнымъ ужасомъ посмотрѣлъ на видѣніе: впервые еще онъ слышалъ отъ непонятнаго фантома голосъ и слово.

— Не бойся! — продолжала звучать странная рѣчь. Вергину казалось, что къ каждой согласной въ устахъ призрака прибавлялся тупой самостоятельный звукъ — какое-то свистящее придыханіе, похожее на хриплое шипѣніе, каковымъ начинаютъ свой бой старинные часы.

— Не бойся!

— Кто ты?—спросилъ Вергинъ, смѣло поднимаясь съ кресель навстрѣчу видѣнію. Облако заволновалось, и за секунду предъ тѣмъ отчетливо опредѣлившіся черты призрака снова покрылось мглою.

— Не знаю!—донесся къ Вергину отвѣтъ, какъ будто еще больше издалека, чѣмъ первыя слова.

— Зачѣмъ ты здѣсь?

— Ты мнѣ близокъ, и мнѣ жаль тебя.

— Я давно вижу тебя. Я считалъ тебя за обманъ воображенія, и даже теперь, когда ты говоришь со мной, я не увѣренъ, — не брежу-ли... Зачѣмъ молчалъ ты раньше?

— Я наблюдалъ за тобой и читалъ въ твоей душѣ. Я былъ свободенъ. Сегодня послѣдній день моей свободы. Завтра... день... вѣры... торжество великой силы. Сюда придутъ люди, служащіе Тому, кого я не хочу назвать. Ихъ молитвы лишатъ меня убѣжища... и разлучатъ съ тобой!

— Ты боишься молитвъ... Значить, ты злой духъ?

Признакъ безпокойно заволновался. Двѣ яркія точки въ туманѣ, — Вергинъ принималъ ихъ за глаза своего видѣнія,—засверкали острымъ блескомъ.

— Я сказалъ тебѣ, что не знаю, кто я. Не все-ли тебѣ равно? Я пролетаю міръ, не вѣдая, откуда я взялся и давно-ли живу въ немъ. Не знаю даже, точно-ли я живу. Иногда мнѣ кажется, что я—не существо, а чей-то сонъ, чья то мечта. Я люблю тебя именно за то, что твои мысли находятъ во мнѣ отголосокъ въ то самое мгновеніе, какъ онѣ зараждаются въ твоей головѣ. Быть-можетъ, я не что иное, какъ твоя безумная, печальная, острая, злая дума, отдѣлившаяся отъ тебя и представшая тебѣ полувоплощенной...

— Мудрено... не понимаю...

— Я не умѣю сказать яснѣе...

— Чего ты хочешь?

— Помочь тебѣ. Скажи мнѣ свою лучшую мечту, и я научу тебя, какъ ее осуществить. Ты молчишь?.. Тогда я самъ скажу, чего ты хочешь. Ты жаждешь смерти... жаждешь соединиться съ своей женой, — и не рѣшаешься на самоубійство!.. Ха-ха!..

Вергинау послышался тихій, но ѣдкій, холодный смѣхъ.

— Ты смѣешься...

— Нѣтъ. Это ты смѣешься. Говорю тебѣ, что я ничто, я — лишь отраженіе твоего ума, я — тотъ инстинктъ, котораго лишился человѣкъ, когда возвысился надъ природой. Я смѣюсь, если ты смѣешься, плачу, если ты плачешь, хочу, чего ты хочешь... Вотъ теперь ты думаешь: если это видѣніе, стоящее предъ моими глазами, сверхъестественно, — пусть оно скажетъ мнѣ, увижусь-ли я съ Лидіей... Ха-ха-ха! Странные умные люди! Какъ многому ненужному вы научились и какъ много необходимаго забыли! Безсловесное животное видитъ духовный міръ такъ же, какъ міръ тѣлесный. Слышишь ли ты далекій вой двороваго пса? Онъ предвѣщаетъ покойника... Кто имъ будетъ? Можетъ-быть, и ты — какъ знать! Сибирскій шаманъ въ пророческомъ изступленіи говоритъ со своими предками, какъ съ живыми людьми, задаетъ имъ вопросы и получаетъ отвѣты; а ты, одаренный развитымъ наукою умомъ, не въ силахъ помочь себѣ въ самомъ страстномъ своемъ стремленіи!

— Смерть не возвращаетъ своихъ жертвъ! — глухо сказалъ Вергинъ.

Призракъ засмѣялся.

— Развѣ есть смерть въ природѣ? И ты, умный человѣкъ, рѣшаешься произносить это слово въ присутствіи такого существа, какъ я?

— Ты безсмертенъ?

— Я не понимаю смерти. Она — покой, а я въ вѣчномъ движеніи; я ее отрицаю. Вглядишься въ меня: мой облачный покровъ дрожить, зыблется, волнуется переживаниями, готовъ принимать сотни разнообразныхъ формъ и красокъ. Я могу быть всѣмъ, что можетъ представить себѣ твое воображеніе, но мой часъ не пришелъ, и пока я лишь таинственное *ничто*. Когда-нибудь *ничто* превратится въ *что-то*. Я буду, какъ и ты, существомъ тѣлеснаго міра, но, какъ и ты, не надолго; исполнивъ срокъ того, что вы, люди, принимаете за жизнь, я снова распадусь на безчисленныя частицы... Я вѣченъ, какъ вѣчна природа! А ты говоришь о какой-то смерти!

— Значить, и я буду жить, какъ ты? и Лидія не... умерла? — трепеща отъ робкаго предчувствія, вскричалъ Вергинъ.

— Разумѣется, и, если ты хочешь, ты можешь видѣть ее.

— Какъ? Научи меня, и я буду благословлять тебя!

— Смотри сюда!

Вергинъ, слѣдуя указанію призрака, обратилъ глаза на дѣдовскій книжный шкафъ и, къ своему удивленію, легко проникъ взоромъ въ его внутренность. На верхней полкѣ лежала старинная полууставная рукопись.

— Прочти,—сказалъ призракъ.

Вергинъ началъ читать. Это было причудливое мистическое сочиненіе прошлаго вѣка. Когда Вергинъ прерывалъ чтеніе, призракъ рѣзко говорилъ ему:

— Дальше!

— ...А если хочешь видѣть умершаго сродника, друга или знакомаго, — съ волненіемъ разбиралъ полустертую рукопись Вергинъ, — пойди о полуночи одинъ къ церкви и сядь на паперти; молчи и думай о томъ, кого желаешь видѣть. Не оборачивайся, а смотри предъ

собою, поднявъ глаза на Большую Медвѣдицу. Не моргай и дыханіе задерживай. Если все сказанное выполнишь, желанный тобою придетъ къ тебѣ и сядетъ рядомъ съ тобою, и будетъ съ тобою какъ при жизни...

— И это не ложь?—вскричалъ Вергинь.

— Нѣтъ!

— Я увижу... тѣнь Лидіи?!

— Тѣней нѣтъ. Ты увидишь, самое Лидію.

— Призракъ!—радостно заговорилъ Вергинь, простирая руки къ видѣнію, — призракъ! За одну десятую долю блаженства, какое ты сулишь мнѣ, я отдамъ тебѣ все; что ты хочешь,—жизнь, душу...

— Мнѣ ничего не надо отъ тебя. Вспомни: я называлъ себя твоею мыслью. Мы врозь, но мы нераздѣльны, и, выполняя свои желанія, ты удовлетворишь мои. Итакъ, идешь ли ты?

— Иду!

— Ты будешь счастливъ... Прощай!

Сѣрое облако потускибло и слилось со шкафомъ. Призракъ исчезъ.

И вотъ Вергинь, крадучись, какъ воръ, оставилъ свой крѣпко уснувшій домъ... Утопая по колѣно въ снѣгу, спотыкаясь о занесенные вьюгой кресты и плиты сельскаго кладбища, онъ пробрался къ церковной паперти и сѣлъ на ея ступеняхъ. Вьюга улеглась, мѣсяцъ плылъ между гонимыми вѣтромъ, разорванными тучами, и ихъ тѣни причудливо скользили по бѣлымъ снѣгамъ. Гдѣ-то далеко вылъ волкъ, и собаки на селѣ отзывались ему сердитымъ озабоченнымъ лаемъ. Вергину было не до волковъ и не до собакъ. Онъ спѣшилъ выполнить всѣ указанія рукописи. Большая Медвѣдица стояла высоко надъ горизонтомъ—въ огромномъ лоскутѣ темнаго неба, сжатомъ, какъ рамою, расплывающимися тучами.

Вергинъ впился въ созвѣдіе пристальнымъ взоромъ,— и семь блестящихъ звѣздъ скоро слились для него въ одну громадную, какъ луна, и сверкающую, какъ солнце, звѣзду; она все росла и росла, словно приближаясь къ землѣ, и становилась все ярче и великолѣпнѣе. Еще мгновеніе, — и цѣлое море свѣта окружило Вергина... Онъ сталъ терять сознание...

Легкій вѣтеръ, пробѣгая по кладбищу, сдувалъ съ могилъ сухой снѣгъ и серебряными, при лунномъ свѣтѣ, вихрями поднималъ его на воздухъ. Одинъ изъ вихрей глубоко въ подкатился къ паперти и осыпалъ ее мелкой ледяной пылью... Вергинъ очнулся: у ногъ его сидѣла маленькая худенькая женщина—мѣсяцъ ярко освѣщала ея золотые волосы и глубокіе глаза,—она сжимала его руку своими крошечными ручками и говорила ему:

— Милый мой.

— Лидія! — вскричалъ Вергинъ, но теплая ручка легла ему на губы...

— Тише! тише!—услыхалъ онъ ласковый шепотъ.— Пусть молчаливо будетъ наше счастье! Слово гонитъ меня, я таю отъ звука. Цѣлуй, ласкай меня, но молчи... молчи!

И онъ почувствовалъ на своемъ лицѣ жаркое дыханіе, и вѣжные, тихіе, какъ въ прежніе счастливые дни, поцѣлуи покрыли его губы, глаза и щеки. Голова Вергина шла кругомъ. Онъ молча сжималъ въ объятіяхъ Лидію и не помнилъ ни времени, ни мѣста, — ничего въ свѣтѣ, кромѣ своего блаженства.

— Теперь говори! Теперь все опасное минуло! Теперь можно все говорить! Посмотри, какъ все измѣнилось вокругъ насъ!..—звенѣлъ надъ его ухомъ серебряный лепетъ.

Вергинъ оглянулся, — и точно: вокругъ все измѣнилось. Не было ни церкви, ни могилъ, ни снѣга, — изъ всей только-что представлявшейся ему дѣйствительности

оставалась одна Лидія. Высокія сосны шумѣли надъ головами счастливой пары; жаркій душный день вмѣстѣ и томилъ, и нѣжилъ ихъ лучами іюньскаго солнца; пахло хвоей и земляничкой; подъ ногами Вергина, какъ коверъ, разстирался зеленый пышный мохъ; красноглавый дятель гдѣ-то долбилъ носомъ сосновый стволъ, щеголь заливался...

— Лидія! гдѣ мы? Что со мной?!—съ восторженнымъ волненіемъ спросилъ Вергинъ.

— Ты не узналъ?.. забылъ? — ласково упрекнула Лидія.

— Постой... это... Боже мой! Но, вѣдь, здѣсь, да, именно здѣсь, я когда-то сказала, что люблю тебя, и ты дала мнѣ слово... Мы въ родныхъ мѣстахъ, въ мѣстахъ нашей первой любви!.. Счастье вернулось къ намъ!

— И продолжится вѣчно, вѣчно! — отвѣтила Лидія, обнимая мужа.

— Здѣсь направо,—продолжалъ Вергинъ, озираясь,—шла тропинка къ твоей дачѣ. Мы тогда рука въ руку, подыались по ней и на полпути встрѣтили твоего отца и признались въ нашей любви... Гдѣ же теперь эта тропинка?

— Вотъ она!

Лидія подняла руку, и Вергинъ увидалъ тропинку какъ разъ подъ своими ногами, но въ странномъ, измѣненномъ видѣ: прямая, широкая и свѣтлая, какъ серебро, она поднималась почти отвѣсно, высоко-высоко, и чѣмъ выше, тѣмъ ослѣпительнѣе было ея сіяніе.

— Хочешь, пойдешь по ней опять, какъ тогда?—прошептала Лидія склоняя голову на плечо мужа.

— Пойдемъ!—твердо и рѣшительно отвѣтилъ Вергинъ.

Утромъ нашли его замерзшимъ на кладбищенской паперти... Блаженная улыбка застыла на спокойныхъ чертахъ.

СОНЪ НА ЯВУ.

Это случилось въ июльское полнолуніе 1883 года.

Я былъ въ гостяхъ у моей сосѣдки по имѣнію, Зинаиды Петровны Берновой, праздновавшей въ тотъ день свое рожденіе. Когда гости собрались прощаться, уже совсѣмъ свечерѣло. Кто, по настоянію хозяйки, остался ночевать, кто отправился во-свои. Въ числѣ послѣднихъ былъ и я.

До моей усадьбы считалось отъ Берновки что-то около шести верстъ; дорога шла по полю и, только близъ самаго моего дома, пряталась сажень на двадцать, на тридцать въ густой березнякъ—начало громаднаго казеннаго лѣса, покрывающаго своей пущею добрую четверть Л—скаго уѣзда. Въ нашихъ мѣстахъ не шалили; про волковъ тоже не было слышно, да лѣтомъ они и не опасны; на всякій случай у меня въ карманѣ лежалъ револьверъ. Сообразивъ все это, я отвергъ любезное предложеніе Берновой снабдить меня экипажемъ и пустился въ путь пѣшкомъ.

Ночь была дивная. Луна успѣла высоко взойти и все еще поднималась по небу. Берновка стояла на сухомъ холмѣ, но, минувъ ея околицу, я вступилъ въ полусвѣтъ, полусумракъ густаго тумана, слегка посеребреннаго мѣсяцемъ. Стало довольно свѣжо для іюля,—впрочемъ, послѣ ужина съ достаточнымъ количествомъ вы-

питаго вина, послѣ толкотни въ душныхъ накуренныхъ комнатахъ, маленькій холодокъ былъ даже приятенъ.

Я шелъ и думалъ о странныхъ вещахъ, бывшихъ нѣсколько минутъ тому назадъ предметомъ общаго разговора у Зинаиды Петровны. Мы бесѣдовали о медиумическихъ явленіяхъ и, главнымъ образомъ, о духовидѣніи. Почти всѣ гости рассказали по два, по три случая, болѣе или менѣе подходящихъ къ привлекательной темѣ. Большинство рассказчиковъ хлестаковски импровизировало свои повѣствованія, но нѣкоторые казались искренними. Я молчалъ все время, хотя, еслибы желалъ, могъ сообщить много не безъинтересныхъ фактовъ. Лѣтопись нашего стариннаго рода полна таинственными происшествіями. Между моими предками были странные люди.

Мой прадѣдъ, Никита Аванасьевичъ Ладѣинъ—самый крупный изъ этихъ чудаковъ: богачъ—вельможа XVIII вѣка, онъ всю свою девяносто-лѣтнюю жизнь возился съ магами, заклинателями, дружилъ съ Сень-Жерменомъ, Калиостро, Месмеромъ, принадлежалъ къ розенкрейцерской ложѣ. Сынъ его Иванъ Никитичъ, страстный ориенталистъ, провелъ свою молодость въ странствіяхъ по азіатскимъ землямъ и вернулся въ цивилизованные края человѣкомъ, какъ-бы не отъ міра сего, одаренный способностью ясновидѣнія и рѣдкою магнетической силой. Онъ умеръ 22 марта 1832 года, въ одинъ день и часъ съ Гёте, которому былъ приятелемъ при жизни, и, говорятъ, предсказалъ это совпаденіе за день до кончины. Мой отецъ, человѣкъ съ трезвымъ умомъ и положительнымъ характеромъ, имѣлъ однако, психическій изгнѣнъ: онъ страдалъ галлюцинаціями слуха и зрѣнія. Приписывая свою болѣзнь наследственности отъ фантастовъ — предковъ, отецъ приложилъ всѣ усилія, чтобы ослабить ея вліяніе на

слѣдующія поколѣнія. Благодаря этому, я получилъ самое матеріалистическое воспитаніе, разсудочное въ ущербъ воображенію.

Я былъ твердъ во внушенныхъ мнѣ правилахъ и до двадцати лѣтъ не проявлялъ особой нервности. Затѣмъ меня стали посѣщать припадки паническаго страха. Мнѣ внезапно дѣлалось жутко быть одному, перейти въ другую комнату, стоять спиной къ двери или къ зеркалу; жутко до того, что я блѣднѣлъ, дрожалъ, обливался холоднымъ потомъ. А между тѣмъ я не зналъ трусости предъ явной физической опасностью. На нашей фермѣ задурилъ быкъ и едва не забодалъ въ моемъ присутствіи скотницу; я схватилъ заступъ, сталъ между животнымъ и растерявшейся жертвой, ничуть не утратилъ хладнокровія и оглушилъ быка ударомъ по мордѣ въ ту самую минуту, какъ онъ собирался поднять меня на рога. Я пробовалъ бороться противъ страха: если меня пугала темнота, я шелъ въ потемки, если мнѣ чудился неопредѣленный шорохъ, я изслѣдовалъ комнату, пока не убѣждался, что сробѣлъ... передъ мышами! Но какъ-то разъ, въ сумерки, я грѣлся у камина въ своемъ кабинетѣ. Меня посѣтилъ страхъ: „ты не обернешься назадъ, ни за что не обернешься!“ шепталъ мнѣ голосъ сердца. Вѣрный своему репрессивному лѣченію, я обернулся — и дрожь пробѣжала по моему тѣлу. Не подумайте, чтобы мнѣ предсталъ какойнибудь фантомъ; нѣтъ, я не видѣлъ ничего страшнаго, скажу даже: ничего явственнаго. Но (не знаю, точно-ли я выражаюсь) я почувалъ въ темномъ углу кабинета *девиженіе*, или вѣрнѣе: *содроганіе чего-то живого, чуждаго мнѣ*. Не было никого, а какъ будто кто-то былъ въ томъ мѣстѣ. Я поясню примѣромъ, — его легко могутъ провѣрить своимъ опытомъ всѣ, кому въ удѣлъ достались чуткіе нервы: въ большомъ темномъ залѣ си-

дить А.; В. входитъ въ залъ безъ малѣйшаго шороха, ни однимъ звукомъ не извѣстивъ А. о своемъ приходѣ; тѣмъ не менѣе А., разъ онъ нервно настроенъ, непременно почувуетъ хоть на одну секунду В. и окликнетъ „кто здѣсь?“ Если увѣрять А., что ему „представилось“, онъ согласится; но попросите его показать мѣсто, гдѣ „представилось“, и А. безошибочно укажетъ сторону, откуда появился В. Близкое къ подобной чуткости, только гораздо болѣе волнующее, ощущеніе испыталъ я при описанномъ случаѣ.

Съ тѣхъ поръ *движеніе* стало бичемъ моего духа. Стоило мнѣ остаться одному, и я уже чувствовалъ его предъ собой. Въ длинные зимніе вечера я погибалъ отъ этого неуловимаго мельканія. Даже общество не всегда спасало меня. Я считалъ и считаю свое *движеніе* болѣзнию, только отчасти психической, несомнѣнно основанной на физиологическихъ причинахъ: можетъ быть, виной всему было пораженіе сѣтчатой оболочки, можетъ быть, общее разстройство нервовъ привело къ беспорядокъ и зрительный аппаратъ. Ни осязаніе, ни слухъ не участвовали въ припадкахъ; я ни одного звука не слышалъ отъ *движенія*, я ни разу не ощутилъ отъ него *впльнія*. Болѣзни глазъ—дѣло темное. Еще Гиппократъ описалъ женщину, чьи больные глаза внезапно начали увеличивать предметы съ силой трехсистемнаго микроскопа нашего времени.

Въ ночь моего разказа *движеніе* минуло меня. Я шелъ совершенно спокойно, не испытывая болѣзненнаго замиранія сердца, обычнаго предвѣстника припадка, и скоро достигъ лѣса. Здѣсь было такъ туманно, что, не зная я дороги, пришлось-бы двигаться впередъ ощупью, Медленная ходьба и однообразная бѣлизна сырого воздуха странно повліяли на меня: я впалъ въ задумчивость, глубокую и отвлеченную, какъ магнетическое

усыпленіе. Когда навстрѣчу мнѣ попался какой-то мужикъ, я могъ еще разглядѣть его высокую фигуру, видѣлъ, что онъ мнѣ поклонился, но не помню, отдали ли я поклонъ, и положительно помню, что уже на слыхалъ шума его шаговъ, хотя молодецъ, вѣроятно, сильно стучалъ крѣпкими каблуками сапогъ по укатанной дорогѣ. Долго-ли я шелъ, не знаю; во всякомъ случаѣ больше часа, т. е. времени, совершенно достаточнаго, чтобы не спѣшнымъ шагомъ добрести отъ Берновки до моего жилища.

Большая сова тяжело поднялась на воздухъ надъ моей головою; мягкій шумъ ея полета заставилъ меня очнуться. Я оглядѣлся: вокругъ былъ лѣсъ, но не знакомый мнѣ вдоль и поперекъ березнякъ. Ноги мои тонули въ росистой травѣ; по близости не было видно ни проселка, ни даже тропинки. Я забрелъ въ болотистую лощину; невдалекѣ журчалъ ручей. Гигантскія сосны обступали края лощины и, сквозь туманъ, казались еще громаднѣе, чѣмъ въ дѣйствительности. Я терялъ голову въ догадкахъ, куда завела меня моя непонятная разсѣянность и какимъ образомъ завела? По многимъ признакамъ мнѣ казалось, что я—въ такъ называемомъ Синдѣевскомъ Яру, хотя я очень желалъ обмануться, потому что Синдѣевскій Яръ былъ сквернымъ мѣстомъ, гдѣ, годъ назадъ, едва не погибъ мой братъ Георгій: загнавшись туда за равеной лисой, онъ незамѣтно очутился, какъ и я теперь, между двумя извилистыми линіями высокихъ, почти отвѣсныхъ обрывовъ; не трудно было въ двухъ-трехъ мѣстахъ скатиться внизъ по мягкой глинѣ, какъ съ ледяной горы, за то не такъ легко взобраться опять наверхъ: глина, осыпаясь громадными глыбами, дѣлала бесполезными всѣ попытки. Зеленая лужайка лощины, при ближайшемъ знакомствѣ, оказывались обманчивымъ покровомъ сплош-

ного топкого болота; въ яру нельзя было шагу сдѣлать безъ опасности завязть въ зыбучей трясинѣ, какъ и случилось съ Жоржемъ. Обдумавъ свое положеніе, я понималъ, что, даже въ самомъ лучшемъ исходѣ, долженъ провести ночь въ лѣсу, такъ какъ, еслибы даже мнѣ удалось выбраться изъ яра, я заплутался бы въ чащѣ. На ливніи долины видѣлось нѣсколько просѣкъ; по какой изъ нихъ я пришелъ, не было ни малѣйшаго представленія въ моей головѣ. Я покорился своей участи и присѣлъ на первый попавшійся пенекъ. Было очень тихо. Только пугачи перекликались гдѣ-то очень далеко и замѣчательно мѣрно: крикнетъ одинъ — пауза, крикнетъ другой — опять такая-же пауза, опять крикъ первого... Жутко было слушать ихъ дикіе вопли: сердце надрывалось.

Едва я принялъ спокойную позу, какъ ощутилъ близость *движенія*. Я вперилъ глаза въ бѣлую глубь тумана и скоро нашелъ сильно содрогающуюся точку: *движеніе* распространялось отъ нея, какъ лучи отъ круглой свѣтильни, спектромъ и, чѣмъ ближе къ окружности, тѣмъ слабѣе: весь спектръ представлялся моему воображенію аршина четыре въ діаметрѣ; онъ не перебѣгалъ съ мѣста на мѣсто, что случалось наблюдать мнѣ раньше, а, напротивъ, устойчиво держался первоначальнаго центра. Сосредоточенное вниманіе къ точкѣ быстро привело меня ко сну—по крайней мѣрѣ я не помню себя въ теченіе довольно долгаго времени до момента, когда голосъ, далекій, но рѣзкій и ясный, назвалъ меня по имени. Я вскочилъ на ноги.

— Ау! Кто здѣсь живъ человѣкъ?—закричалъ я.

Эхо прокатилось по просѣкамъ и смогло. Пугачъ раздражающе ухнулъ и стихъ. Отвѣта не было. Минута, другая, третья—наконецъ, съ востока донесся до меня слабый раздѣльный окликъ:

— Ни-ко-лай! иди сюда, Ни-ко-лай!

Очевидно, меня хватились дома брать и дядя и на-думались учредить за мной поиски. Я несказанно обра-довался, крикнулъ еще разъ, что было мочи, и пошелъ въ сторону голоса. Мнѣ посчастливилось сразу попасть на тропинку—узенькую, глубокую и вязкую, вѣроятно, протоптанную къ водопою кабанями: ихъ много въ на-шемъ уѣздѣ; крупный звѣрь бросился съ моего пути—бѣлые полосы на спинѣ обличили барсука. Я шагаль неутомимо. Голосъ по временамъ звалъ меня и все съ одной и той же стороны. Я громко аукалъ, однако мнѣ не отвѣчали—значитъ, меня не слышали. Сперва я уди-вился, затѣмъ заключилъ, что попалъ въ акустическій фокусъ, весьма обыкновенный въ лѣсныхъ дебряхъ, если онѣ разбросаны на холмахъ: звукъ съ полной ясностью долетаетъ сверху внизъ и весьма слабо рас-пространяется снизу вверхъ; иногда бываетъ и наоборотъ.

Кабанья тропа кончилась. Почва стала крѣпче; мел-кіе голыши шуршили подъ ногой. Скоро я уперся въ каменистую стезю, протоптанную къ верху обрыва.

— Николай!—отчетливо раздалось надо мной. Я былъ у цѣли! Въ двѣ минуты, не больше, я вскарабкался по предложенному пути. На верху никого не было. Зна-чить, брать, не слыхавъ моихъ воплей, рѣшилъ на-править поиски въ другую часть яра. Какъ бы то ни было, онъ не могъ уйти далеко. Я аукнулъ и свистнулъ особымъ манеромъ, хорошо извѣстнымъ Жоржу. Тогда произошло нѣчто необычайное.

Я стоялъ на границѣ тумана. За мной, въ лощинѣ было цѣлое море паровъ; предо мной поднимался косо-горомъ темный сухой лѣсъ съ широкой прогалиной, за-литой луннымъ блескомъ. Оттуда, словно изъ отдуш-ны, тянуло мнѣ въ лицо предразсвѣтнымъ вѣтромъ. Когда я свисткомъ разбудилъ эхо, изъ-за плечъ моихъ

вырвались, отдѣлясь отъ тумана, два огромныхъ бѣлыхъ клуба и полетѣли — какъ теперь я соображаю, *противъ ветра*—прямо въ отверстіе прогалины. Въ полетѣ они, словно таяли, уменьшались въ объемъ и все ниже, ниже проникали къ землѣ...

— Николай!—дошло ко мнѣ *по ветру*. Я поспѣшилъ на зовъ и тамъ, гдѣ прогалина кончалась, упираясь въ листовенную стѣну, издали зазрѣлъ высокаго человѣка въ бѣломъ кителѣ, съ ружьемъ за плечами, и возлѣ него сеттера, тоже бѣлаго.

— Это ты, Жоржъ? Я здѣсь! Долго вы меня искали?—заговорилъ я, но, приблизившись, убѣдился, что обращаю рѣчь къ молодой березкѣ; оптической обманъ показалъ мнѣ бѣлаго человѣка саженъ на пятнадцать ближе, чѣмъ стоялъ онъ на самомъ дѣлѣ, у поворота узкой тропинки, уходившей въ глубь чащи. Я налегъ на ноги и настигъ охотника на столько, что могъ слышать фырканье его собаки. Еще шагъ впередъ, и бѣлый человѣкъ исчезъ въ кустахъ, а, когда опять появился на тропинкѣ, то оказался еще на большемъ разстояніи отъ меня, чѣмъ раньше! Мысль о сверхъестественномъ явленіи мелькнула въ моемъ умѣ.

— Жоржъ! довольно дурачиться! остановись!—сказалъ я.

Отвѣта не было. Страхъ зашевелилъ мои волосы.

— Жоржъ! — повторилъ я, и голосъ мой дрожалъ и прерывался,—Жоржъ! скажи, что это ты... Я боюсь...

Отвѣта не было. Мы шли на полвыстрѣла другъ отъ друга... Я на ходу вынулъ револьверъ.

— Стой, Жоржъ! Умоляю тебя, не продолжай шутки... Я не могу больше терпѣть: я выстрѣлю въ тебя... я боюсь, боюсь... Отвѣчай!

Отвѣта не было. Тогда я навелъ револьверъ въ спину охотника. Онъ остановился, повернулся ко мнѣ лицомъ

и, какъ мнѣ показалось, съ упрекомъ покачалъ головой. Револьверъ дрогнулъ въ моей рукѣ... Призракъ (я болѣе не сомнѣвался, что вижу призракъ) опять тронулся впередъ; я, весь дрожа, все-таки старался не отставать отъ него. Я не могъ разглядѣть черты лица страннаго вожатая: укрываясь въ тѣни деревъ, онъ и его сеттеръ двумя, чуть свѣтящимися пятнами скользили на темномъ фонѣ лѣса.

Чаща рѣдѣла: меньше попадалось подъ ноги бурелома, гнѣющихъ колодъ, вѣтви рѣже, чѣмъ прежде, хлестали въ лицо. И вотъ — свѣтящіяся пятна вдругъ потухли, исчезли. вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдній строй вѣковаго лѣса остался за мною. Я стоялъ на окопѣ—впередѣ разстилалась внизъ по пригорку кудрявая кустарниковая опушка; при мерцаніи занимавшейся зорьки мѣстность легко выяснилась: вдаѣи червѣли крыши моей усадьбы. Призракъ не показывался болѣе...

Красный шаръ солнца выкатился на горизонтѣ, когда я былъ, наконецъ, дома.

Жоржъ спалъ въ своей комнатѣ, завалившись въ постель съ ранняго вечера. Итакъ, меня вывелъ изъ лѣса не онъ.

— Кто же? кто?—мучительно думалъ я и съ этимъ вопросомъ уснулъ, поборенный усталостью и страхомъ. На утро, еслибы не синяки отъ ушибовъ, не царапина на лицѣ, не ломота въ разбитыхъ членахъ, меня никто не увѣрилъ бы въ дѣйствительности ночного приключенія. Жоржъ вошелъ ко мнѣ, когда я еще не вставалъ.

— Гдѣ ты вчера пропалъ?—заговорилъ онъ, — я о тебѣ беспокоился. Даже во снѣ тебя видѣлъ, — цѣни!— и какъ еще скверно видѣлъ: будто ты застрялъ въ Синдѣвской трясинѣ, и мы съ Милордкой тебя оттуда выручаемъ...

— Какъ?!— Я поднялся съ подушекъ.

— Съ Милордкой... Забылъ развѣ покойника? Эхъ, славный сеттеръ былъ! чуть неподражаемое... Да что съ тобой?! — вскрикнулъ вдругъ Жоржъ и бросился ко мнѣ на помощь, — ты, кажется, собираешься падать въ обморокъ? Эка! Поблѣдѣлъ, какъ полотно...

Глаза мои подсказали Жоржу догадку. Онъ вздрогнулъ и поблѣдѣлъ врядъ ли меньше меня...

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО.

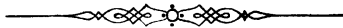
ОТРЫВКИ.

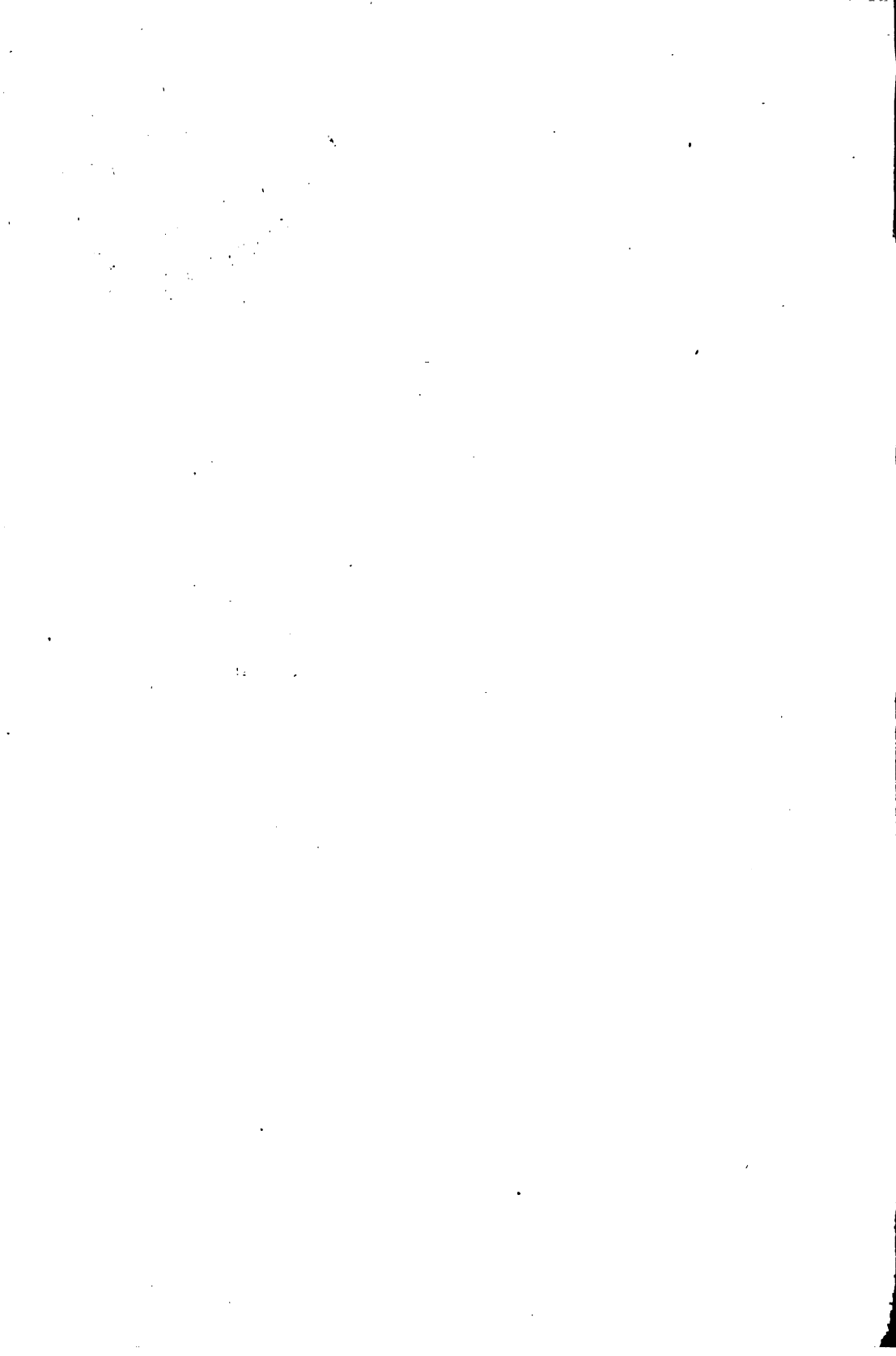
I.

Исторія одного злосчастнаго дня.

II.

На водѣ.







МОЛОДО-ЗЕЛЕНО.

I.

Исторія одного злосчастливаго дня.

Володя Ратомскій и Викторъ Арагвинъ играли на биллиардѣ. Викторъ бралъ всѣ партіи. Послѣ каждой онъ морщилъ лобъ и, скашивая глаза на кончики своихъ рыжихъ усовъ, говорилъ съ презрительной досадою:

— Нѣтъ, Владиміръ Александровичъ! Что-же такъ играть? Я вдесятеро сильнѣе васъ; вамъ надо еще практиковаться мазикомъ. Вамъ и тридцати очковъ впередъ мало.

Однако, сверхъ пятнадцати, условленныхъ при началѣ игры, ничего не прибавлялъ. Володя былъ въ проигрышѣ на двадцать рублей, но не огорчался; ему, только что окончившему курсъ гимназисту, наканунѣ вступленія въ университетъ, было пріятно сознавать, что вотъ—онъ взрослый: играетъ въ публичномъ мѣстѣ съ офицеромъ, тратитъ деньги и никому не обязанъ отчетомъ ни въ деньгахъ, ни въ своемъ поведеніи. Онъ бы и еще игралъ съ удовольствіемъ, но Викторъ положилъ кій съ рѣшительнымъ „баста!“ Арагвинъ всегда игралъ только навѣрняка и почти существовалъ биллиардомъ, но не грабилъ своихъ пижоновъ до-тла, а бралъ съ нихъ лишь какъ разъ то, сколько ему въ данную минуту на что-либо требовалось. Этой своеобразною добросовѣстностью Викторъ не мало гордился, и ей онъ

былъ обязанъ тѣмъ, что ни товарищи, ни партнеры не считали его профессиональнымъ игрокомъ. Теперь онъ сообразилъ, что выигранныхъ двадцати рублей достаточно, чтобы заплатить завтра за охотничьи сапоги, заказанные Гринблату, и „смилоствился надъ мальчишкой“. Арагвинъ и Ратомскій были знакомы недѣли двѣ. Арагвинъ очень нравился Володѣ: поношеннымъ изжелта-блѣднымъ лицомъ, надменными голубыми глазами на выкатѣ, продыmlенными рыжими усами, отрывистой рѣчью съ примѣсю крѣпкихъ словечекъ, онъ напоминалъ юношѣ бреттера Долохова изъ „Войны и мира“.

— Куда же мы теперь? — спросилъ Арагвинъ, зѣвая, — на этихъ дурацкихъ подмосковныхъ дачахъ можно умереть отъ скуки. Три часа: до обѣда еще много времени. Купаться развѣ пойти? а?

— Вода холодна... рано... осторожно замѣтилъ Ратомскій: онъ вообще боялся воды, но не хотѣлъ признаться въ томъ откровенно, остерегаясь разойтись хоть въ чемъ-либо со своимъ взрослымъ пріятелемъ.

— Вздоръ... Мы возьмемъ простыни и по биноклю, — у васъ есть? И айда!.. Сами выкупаемся и бабъ наблюдать будемъ: вѣдь, онѣ — шельмы — въ ста саженяхъ отъ нашей купальни полощутся... Чего же вы краснѣете-то?

— Я, Викторъ Владиміровичъ, я... — запинаясь пробормоталъ Володя, не поднимая глазъ на Виктора, — я долженъ признаться... конечно, это странно... но я не любитель...

Онъ ужасно боялся, какъ бы Викторъ не засмѣялся.

— Ну, не доросли, значитъ, — вяло замѣтилъ Викторъ, — впрочемъ, теперь, навѣрно, купается мамаша съ сестрами... неловко, дѣйствительно.

— Я бы попросилъ васъ къ себѣ... — нерѣшительно началъ Володя...

Арагвинъ засмѣялся.

— А что скажете ваша родительница? Вѣдь, для нея я, надо полагать, антихристъ, звѣръ апокалипсическій! Тутъ, въ Царицынѣ, есть одна маменька, Сергушина-купчиха; такъ она, говорятъ, поминаетъ меня въ молитвахъ: „спаси, Господи, моего ангела Коленьку отъ бѣды, гнѣва и нужды, наипаче же отъ поручика Арагвина!“ А этотъ ангелъ Коленька хлопаетъ въ одиночку бутылку коньяку и меня же нагрѣлъ на сто рублей въ штоссъ... Ха-ха-ха!.. Однако, пойдёмъ!..

И Викторъ надѣлъ фуражку, круто повернулся на каблучкахъ и вышелъ изъ билліардной.

Пріятели долго поднимались въ гору къ Старому Царицыну, сперва по прудовой плотинѣ, шоссеюной дорогой, обсаженной ветхими рагитами, потомъ пустымъ полемъ мимо сѣдыхъ развалинъ Екатерининскаго дворца, потомъ грязной улицей между палисадниками тѣсно построенныхъ дачъ.

— Зайдете?—предложилъ Викторъ, отворяя калитку одного тѣнистаго садика.

— Мнѣ, собственно говоря, домой пора, къ обѣду,—заторопился Володя.

— Вотъ еще! у насъ пообѣдаете. Серафима рада будетъ, — заключилъ Викторъ и, смѣясь, протолкнулъ юношу въ калитку.

Мать Арагвина — очень красивая, полная и далеко еще не старая, даже не пожилая на видъ дама, молодо и хорошо одѣтая—встрѣтила молодыхъ людей.

— Вотъ, наконецъ, и ты,—обратилась она къ Виктору,—здравствуйте, м-г Вольдемаръ. Вы насъ совсѣмъ забыли... Викторъ, распорядись обѣдомъ. Мы только тебя ждали. У насъ Квятковскій и Рутинцевъ.

Викторъ, насвистывая что-то, ушелъ внутрь дома.

— Садитесь, м-г Вольдемаръ,—продолжала Арагвина,

опускаясь на садовую скамью и указывая Володѣ мѣсто
возлѣ себя.—Что новаго-хорошаго?

Володя, путаясь и краснѣя, началъ разсказывать
что-то по-французски, дурнымъ гимназическимъ язы-
комъ, съ типическими руссизмами. Ему всегда бы-
вало немножко неловко подъ взглядами этой большой
красивой женщины, а она всякій разъ, какъ приходилъ
Ратомскій, ухитрялась остаться съ нимъ наединѣ, и
садилась къ нему такъ близко, что у него голова кру-
жилась отъ запаха косметиковъ. Володя разсказывалъ,
но, чувствуя на своемъ лицѣ тяжелый томный взглядъ
черныхъ глазъ Арагвиной, смутно догадывался, что она
его почти не слушаетъ, а будь онъ хоть чуточку опыт-
нѣе, то легко перевелъ бы мечтательное выраженіе
лица своей собесѣдницы на русскій языкъ хоть такими
словами:

— Ну, говори, говори... у тебя и голосъ красивый...
но, Боже мой, какой же ты юный и хорошенькій
мальчишка, и если-бы ты зналъ, какъ мнѣ нравишься!

Обѣдали на террасѣ. Хозяинъ дома, Владиміръ Ва-
лериановичъ Арагвинъ, полковникъ въ отставкѣ, вы-
сокій, молодцоватый господинъ, съ сѣдыми усами, въ
бѣломъ кителѣ безъ погоновъ, вѣжливо сжалъ руку Во-
лоди и значительно сказалъ, вмѣсто привѣтствія:

— А папа-то боленъ!..

— Что-съ?—переспросилъ изумленный юноша.

— Боленъ папа, говорю. Совсѣмъ, пишутъ, плохъ
старикъ. Интересно мнѣ, какъ отзовется эта потеря въ
католическомъ мірѣ... Прошу васъ!—спохватился онъ,
подводя Володю къ закускѣ, и, выпивъ съ гостемъ по
рюмкѣ англійской горькой, задумчиво повторилъ, съ
кускомъ бѣлорыбицы во рту:

— Да, очень интересно мнѣ, каково-то отзовется
эта потеря въ католическомъ мірѣ.

Обѣдъ у Арагвиныхъ былъ неважный, но изъ пяти блюдъ; тарелки надтреснутыя и пообколотившіяся по краямъ, а ножи и вилки съ гербовыми серебряными черенками; двѣ бутылки вина были хоть куда, но когда Володя ошибся и налилъ себѣ стаканъ изъ третьей, оказалась—бассарабская кислятина. Житье на фу-фу, безалаберная цыганщина, ярко сквозившія во всемъ бытѣ Арагвиныхъ, сказывались и здѣсь. Недаромъ обычный гость Арагвиныхъ Квятковскій говорилъ, что они валансьенскія кружева посконью штопають. Володя сидѣлъ за столомъ между Викторомъ и старшею сестрой его, Серафимой. Онъ былъ влюбленъ въ эту дѣвушку. Насупротивъ его сидѣла младшая сестра, Юлія, очень похожая на мать. Серафима родилась въ отца. Поклонники звали ее „розоперстой Эосъ“, а сестра, въ весьма частыя минуты ссоръ, — „длинноносой жердю“. И обѣ эти клички отлично подходили къ наружности Серафимы: кромѣ пышно-взбитыхъ, въ видѣ сіянія, золотистыхъ волосъ и хорошаго цвѣта лица, у нея не было ничего особенно красиваго, а кромѣ чрезмѣрно высокаго роста, нѣкоторой костлявости и длиннаго носа—ничего особенно дурного.

Гость Квятковскій—сынъ знаменитаго русскаго писателя, шелопаѣ, какіе въ рѣдкость даже между дѣтьми великихъ людей—разсказалъ, какъ онъ продалъ въ собственность крупной книгопродавческой фирмы нѣкоторыя сочиненія своего покойнаго отца за полторы тысячи рублей, тогда какъ имъ и пятнадцать—дешевая цѣна.

— Напились мы съ Шмерцомъ и поѣхали... барышни! заткните пальчиками ушки: имѣю говорить неприличности... поѣхали къ Альфонсинкѣ. Тамъ опять пили... а зеркало расшибъ. Ну, пьяный, и продалъ. Впрочемъ, и то сказать: чего въ наше время стоитъ эта рухлядь? Вѣдь, это Бѣлинскій папашу выдумалъ, а на самомъ

дѣлѣ—грошъ ему цѣна: ребятамъ читать... Какой онъ интересъ можетъ представлять нашему брату? Мы читаемъ Мопассана, Зола, Бурже...

— Ахъ, какой вы злой, однако!—протестовала Арагвина,—какъ вамъ не стыдно! На сочиненіяхъ вашего батюшки воспиталось наше поколѣніе, а вы... Нѣтъ, это вы ради краснаго словца... Молодые люди всегда любятъ нападать на людей прошлаго вѣка, особенно если родня...

И она рѣзко оборвала разговоръ, обратившись къ Володѣ:

— А я виновата: не спросила васъ о здоровьи вашей мамы.

— Благодарю васъ. Мама здорова.

— Слава Богу. Ей теперь нельзя хворать: у васъ такое семейное торжество. Сестрица Владиміра Александровича выходитъ замужъ,—пояснила она гостямъ,—и за прекраснаго человѣка, съ огромнымъ состояніемъ, не правда-ли, м-г Вольдемаръ?... Воображаю, какъ счастлива ваша мать. Мы незнакомы, но я ее очень люблю: такая симпатичная, такого хорошаго тона старушка!

Володѣ всегда дѣлалось неловко, когда у Арагвиныхъ говорили о его домашнихъ. Онъ понималъ, что Арагвинымъ очень хочется познакомиться съ его матерью и сестрами семейно, но, съ другой стороны, зналъ, что знакомству этому не бывать, и устраивать его не слѣдуетъ. Ратомскіе—строгая дворянская семья, состоятельная, благовоспитанная, съ высокими нравственными требованіями, ясно доказывающими, что семья этой никогда не было необходимости въ компромиссахъ совѣсти съ житейскими обстоятельствами, — разумѣется, не пара арагвинской богемѣ. Володя помнилъ, что мать его не слишкомъ-то благосклонно смотритъ на его гостеванье у Арагвиныхъ, и что бываетъ онъ у

нихъ едва-ли не контрабандой, и потому невольно терялся подъ ласковыми взглядами, которые кидала... нѣтъ, правильнѣе сказать: которыми обтекала его величественная Аделаида Александровна. Онъ былъ очень радъ, когда полковникъ, — послѣднему и за обѣдомъ судьбы папы не давали покоя!—втянулъ его въ свой политическій споръ съ Рутинцевымъ, бѣлобрысымъ, упитаннымъ малымъ, странно смѣшавшимъ въ своей особѣ и послѣдніе остатки весьма еще недавняго ребячества, и первыя начала будущей бюрократической важности. Рутинцевъ старался глядѣть канцелярскимъ Юпитеромъ, но стоило ему забыться, — и казалось, что воть-воть этотъ розовый ребенокъ, на зло своимъ бакенбардамъ и солидному рединготу, пойдетъ играть въ серсо или прыгать черезъ веревочку. Полковникъ горячился, фыркалъ, брызгалъ слюной, стучалъ ножомъ и вилкой по столу и поминутно привлекалъ къ отвѣтственности Володю:

— Такъ-ли я говорю, молодой человекъ?

— Да... конечно...—неизмѣнно отвѣчалъ юноша, хотя ничего не понималъ въ спорѣ. Но, во-первыхъ, словомъ „да“ легче отдѣлаться, чѣмъ словомъ „нѣтъ“. На согласіе никогда не возражаютъ: почему? а на противорѣчіе—всегда. Во-вторыхъ, оппонентъ полковника былъ антипатиченъ Володѣ. Юношу злило, что Рутинцевъ много, много пятью годами старше его, а задаетъ тоны и смотритъ на него такъ безразлично, словно его и нѣтъ на стулѣ. Володя не зналъ, что Рутинцевъ все—и этотъ безразличный взглядъ, и свою небрежную позу за столомъ, и манеру отрывисто произносить слова въ носъ—скопировалъ съ своего богатаго, вліятельнаго дядюшки, къ кому подъ начальство поступилъ онъ годъ тому назадъ, по окончаніи университетскаго курса. Дядюшка, въ свою очередь, чуть-ли не двадцать лѣтъ жизни убилъ на то, чтобы стать точной копіей одного извѣстнаго

дипломата, а этотъ послѣдній, по общимъ отзывамъ, весьма недурно имитировалъ въ свое время манеры Наполеона III. Въ сущности, всѣ они, начиная съ дипломата и кончая Рутинцевымъ, были очень добрые и отнюдь не гордые ребята: не такъ страшень чортъ, какъ его малюють.

Послѣ десерта дамы удалились съ террасы, а мужчины остались съ кофе и коньякомъ. Полковникъ мгновенно пожертвовалъ политикой для клубничнаго разговора. Вранье и дѣйствительные факты, правда и анекдоты перемѣшались такъ, что и не разобрать: полковникъ и Квятковскій старались превзойти другъ друга. Рутинцевъ хохоталъ и отплевывался, когда изобрѣтательность конкурентовъ заходила ужъ слишкомъ далеко. Викторъ молчаливо ухмылялся. Володѣ стало гадко: онъ не любилъ нехорошихъ рѣчей о женщинахъ. Видя себя съ дѣтства въ женскомъ обществѣ, между матерью и сестрами, — отца онъ почти не помнилъ, — онъ выучился глубокому уваженію къ женщинамъ и считалъ ихъ какими-то особенными, для молитвъ и поклоненія созданными существами. Онъ незамѣтно вышелъ изъ-за стола и пробрался въ калитку полисадника, намѣреваясь уйти домой. Его нагнала Серафима.

— Я иду въ паркъ... хотите со мною?—предложила она. Вы зачѣмъ хотѣли отъ насъ убѣжать?

— Я... я не хотѣлъ... я просто такъ...

— Впрочемъ, я понимаю васъ!—перебила Серафима, бросая на юношу мелькомъ грустный взглядъ, — вамъ противно стало въ ихъ обществѣ?

Володя чуть было не сказалъ: да! но во-время спохватился, что въ этомъ противномъ обществѣ были, между прочимъ, отецъ и братъ Серафимы, и воскликнулъ:

— Помилуйте, Серафима Владиміровна! какъ это возможно?

— Не защищайтесь, пожалуйста. Позвольте мнѣ думать о васъ такъ. Однако... двадцать второй годъ, и такъ еще молодъ и чистъ душой! Вы рѣдкость въ нашъ вѣкъ, м-г Вольдемаръ!

Володя, несказанно благодарный Серафимъ за подаренные его юности три лишніе года, не безъ удовольствія почувствовалъ себя рѣдкостью. Они вошли въ паркъ и сѣли на скамью подъ старымъ дубомъ.

— Скажите, м-г Вольдемаръ,—начала Серафима,— вы любите свою семью?

— Очень.

— Какой вы счастливецъ!

Грустный вздохъ, сопровождавшій это восклицаніе, смутилъ молодого человѣка...

— Почему-же васъ это удивляетъ?—спросилъ онъ не безъ робости,—мнѣ кажется, любить своихъ—это такъ обыкновенно...

— Обыкновенно? да? вы думаете? Ахъ, м-г Вольдемаръ! дай Богъ вамъ подольше остаться съ такими... невинными убѣжденіями!

— Но развѣ... вы...

— Я не-на-ви-жу своихъ! да! не смотрите на меня, какъ на чудовище: не-на-ви-жу! и, повѣрьте, имѣю на это право. Ахъ, если-бы вы знали, какое ужасное несчастье видѣть вокругъ себя людей, съ которыми тебя ничто... рѣшительно ничто не связываетъ. Папа — ему была-бы газета да грязный разговоръ... Мама до сорока пяти лѣтъ разыгрываетъ роль молоденькой женщины и кокетничаетъ съ молодежью... и съ вами въ томъ числѣ! да! да! пожалуйста, не притворяйтесь! я замѣтила! Сестра... ахъ, сестра!—она вся ушла въ трипки! ея мечты: лишь-бы поскорѣй замужъ! Она меня любить, зоветъ „умницей“: это у насъ въ домѣ обидное слово, Владиміръ Александровичъ!.. умными у насъ

быть не позволяется. Кто у насъ бываетъ? Этого шутъ Квятковскій, теленокъ Рутинцевъ, — еще десятокъ такихъ-же франтиковъ, тупыхъ, однообразныхъ и... развратныхъ. Они къ намъ прѣзжаютъ послѣ пьянаго объѣда и увзжаютъ отъ насъ на пьяный ужинъ! Какъ смотреть они на меня, сестру, мамашу!.. О!.. одного взгляда Квятковского достаточно чтобы я покраснѣла... столько въ этомъ человѣкѣ темнаго, нечистаго...

— Но, Серафима Владиміровна, — пролепеталъ Володя, оглушенный, увлеченный и до глубины души своей тронутый порывистомъ потокомъ этихъ неожиданныхъ признаній, — надѣюсь, вы не думаете, что я...

— Вы!.. вы — единственный порядочный человѣкъ, бывающій у насъ... Вы!.. м-г Вольдемаръ! я моложе васъ на три года... Но восемнадцатилѣтняя дѣвушка богаче опытомъ и старше сердцемъ, чѣмъ даже двадцатисемилѣтній мужчина, а вамъ всего двадцать одинъ годъ... Значитъ, я много старше васъ. Позвольте мнѣ дать вамъ совѣтъ: оставьте насъ, не ходите къ намъ! Себѣ вы принесете огромную пользу, — къ вамъ, по крайней мѣрѣ, ничего не пристанетъ отъ нашей гнилой, пошлой среды, и вы надолго еще можете остаться тѣмъ же хорошимъ, чистымъ... милымъ, какъ теперь.

— Серафима Владиміровна!..

— И мнѣ будетъ польза. Я обречена... я—жертва, подавленная судьбой... Мнѣ остается одна надежда: забыться, оступѣть, утонуть съ закрытыми глазами въ той тинѣ, гдѣ барахтаются всѣ наши и откуда мнѣ тоже нѣтъ ни выхода, ни спасенія!.. А тутъ является человѣкъ... напоминаетъ, что есть за стѣнами твоего грязнаго острога жизнь—свѣтлая, дѣятельная, разумная... Ахъ, Владиміръ Александровичъ! Владиміръ Александровичъ!..

Какъ ни робокъ былъ Владиміръ Александровичъ,

но понялъ это приглашеніе объясниться въ любви. Языкъ его прилипъ къ гортани и уста изсохли... Слова „я люблю васъ“ казались ему тяжелыми, какъ вся тяга земная, хотя сказать ихъ очень хотѣлось. Конфузь и увлеченіе поборолись малую толику, и увлеченіе побѣдило: роковая фраза была сказана. Въ старыхъ романахъ про такія минуты писывали: „море блаженства охватило влюбленныхъ“.

Когда Володя вынырнулъ изъ моря блаженства настолько, чтобы понимать, что онъ говоритъ, думаетъ и дѣлаетъ, онъ стоялъ на колѣняхъ, немилосердно пачкая свои свѣтлые панталоны и весьма огорчая такой позиціей чернаго жучка, придавленнаго влюбленнымъ въ стремительномъ колѣнопреклоненіи. Жучокъ пошевелилъ щупальцами и умеръ...

— Встаньте! — сказала Серафима, — вы неосторожны... Насъ могли видѣть...

Володя забормоталъ о своей готовности быть рыцаремъ Серафимы, хотя бы цѣлый свѣтъ пришелъ смотрѣть, какъ онъ, Владиміръ Ратомскій, стоитъ на колѣняхъ. Затѣмъ, заявилъ о непремѣнномъ намѣреніи вырвать свою красавицу изъ неподходящей ей уму и прелестямъ среды, быть ея вѣчнымъ заступникомъ и другомъ... Еще мгновеніе, и онъ сдѣлалъ бы формальное предложеніе, потому что въ умѣ его уже зазвенѣли стихи:

„И въ домъ мой смѣло и свободно
Хозяйкой полною войди...“

Но судьба была за мамашу Володи (она, бѣдная, и не предчувствовала въ эту минуту, что за спектакль разыгрывается въ паркѣ при благосклонномъ участіи ея любимца) и противъ союза любящихъ сердець. Серафима внезапно сняла съ головы Володи руку, которою ласкала его волосы, и—съ измѣнившимся, злымъ лицомъ—сказала:

— Квятковскій идетъ...

Интересный потомокъ великаго человѣка, дѣйстви-тельно, блуждалъ вдоль развалинъ дворца, не безъ любопытства заглядывая въ его двери и читая на косякахъ надписи, оставленные досужими посѣтителями.

— Ради Бога... уйди... шептала Серафима, — онъ сейчасъ подойдетъ къ намъ... начнутся пошлости... а я не хочу, чтобы послѣ нашего чуднаго объясненія ты принялъ участіе въ разговорѣ съ этимъ шутомъ... Уйди!..

И, получивъ быстрый поцѣлуй, Володя очутился самъ не зная, какъ это онъ успѣлъ такъ скоро, за не-далекою купою жимолости какъ разъ въ то время, когда издалека раздался голосъ подходящаго Квятковскаго:

— А! одинокая Мальвина! а куда же юркнулъ вашъ трубадуръ?

Володѣ очень захотѣлось вернуться и намять бока Квятковскому за трубадура, но онъ вспомнилъ просьбу Серафимы и ушелъ въ глубь парка. Въ какомъ-то сладкомъ угарѣ бродилъ онъ подъ зелеными сводами аллей, ни о чемъ опредѣленно не думая. Надъ прудомъ ему захотѣлось плакать, потому онъ ни съ того, ни съ сего затянулъ оперную арію, а по одной аллеѣ, убѣдившись, что свидѣтелей нѣтъ, даже проскакалъ на одной ножкѣ... „Жаль, нѣтъ друга, съ кѣмъ-бы подѣлиться своимъ счастьемъ“, — думалъ онъ. Такъ бродилъ онъ съ полчаса, пока, наконецъ, его не потянуло домой. Онъ баловался стихами, и въ головѣ у него назрѣло стихотвореньице, навѣянное объясненіемъ, какъ ему казалось, совсѣмъ во вкусъ „лирическаго интермеццо“ Гейне, его любимаго поэта.

Завидѣвъ издали знакомую скамью подъ дубомъ, Володя остановился въ изумленіи: Серафима и Квятковскій не окончили еще разговора и спорили не слишкомъ

громкими, но возбужденными голосами, глядя другъ на друга злыми глазами. Серафима раскраснѣлась, Квятковскій былъ зеленъ, какъ гимназистъ, выкурившій первую папиросу. Володя, скрытый отъ нихъ кустами, хотѣлъ было подойти, но одно словцо Серафимы заставило его застыть на мѣстѣ: онъ явственно слышалъ, какъ его возлюбленная сказала Квятковскому „ты“...

— Прекрасно, прекрасно ведешь ты свои дѣла! — грубо говорилъ Квятковскій, — *le roi est mort, vive le roi*... Меня въ чистую отставку, трубадура — къ отбыванію воинской повинности...

— Тебѣ-то что? — со злостью перебила Серафима, — ревновать тоже вздумалъ!

— Ревновать? тебя? Симка! ты забываться начинаешь... Тебя ревновать!.. пхе!..

— Такъ зачѣмъ-же эта сцена?

— А затѣмъ, что мнѣ жаль...

— Кого это?

— Мальчика этого, Ратомскаго, вотъ кого!

— Скажите!

— Да, жаль. Мнѣ — что! Если ты мнѣ дашь отставку, я только тебѣ ручкой „мерси“ сдѣлаю: рублей сто, а то и всё полтора ста въ мѣсяцъ — въ карманѣ. Конфекты и подарунки эти кусаются. Да и займы вы слишкомъ часто просите: и ты, и Викторъ, и полковникъ...

— Какъ это вѣжливо! Вамъ жалко?

— Жалко. Я бумажекъ самъ не дѣлаю. Государственныхъ придерживаюсь, а онѣ — вещь, келькъ шозъ... Такъ-то!.. И мальчишку этого запутать я тебѣ не позволю. Онѣ мнѣ нравится. Въ третій разъ я его вижу, а симпатію получилъ. Да. Онѣ не намъ чета. Не пропащій. Въ немъ божья искра теплится. Настоящій юноша, не старикъ восемнадцати лѣтъ. Энтузіастъ, мягкій сердцемъ, застѣнчивый, не дуракъ.

читать любить, стихи, говорить, писать, убвждения есть... Изъ него можетъ хорошій человекъ выйти. А я тебя знаю: тебѣ лишь-бы замужъ выйти, а кого ты этимъ погубишь — тебѣ все равно. Не будь я женать, ты и меня-бы, пожалуй, окрутила, даромъ что я прожженная душа; скушать этого младенца тебѣ — что стаканъ воды выпить...

— Ну, хорошо... дальше что?

— А то, что уймись. Нечего тебѣ смущать порядочнаго человекъ. Тебѣ сантиментальныя бесѣды триньтрава: по шаблону, изъ романовъ жарись, — языкъ болтаетъ, голова не знаетъ; а ему это жутко придется. Я кое-что о Ратомскихъ знаю. Хорошая семья, съ душой. Тебѣ туда нечего лѣзть... Если-же я тебѣ такъ наскучилъ, ты поковетничай съ Рутинцевымъ: самъ помогу! мнѣ такихъ телятъ не жалъ, хоть и жени его, пожалуй! Ратомскому до свадьбы еще нужно молоко обсушить на губахъ, вырасти и поучиться лѣтъ десять. Да и тогда ему не такая жена будетъ нужна.

— Какая-же, позвольте узнать?

— Во-первыхъ, молодая. Тебѣ сколько годковъ? Мнѣ двадцать восемь, а, вѣдь, ты старше меня. Во-вторыхъ — честная.

— Мужикъ!

— Ну, не ругаться! Я не трубадуръ: и отвѣтить могу.

— Вы думаете, вамъ пройдетъ даромъ эта сцена?

— Имѣю твердую увѣренность.

— За меня есть кому заступиться!

— Дуэль? Хоть на пушвахъ! Только съ кѣмъ? Полковникъ не пойдетъ: кто-же безъ него Констанъ съ Лоромъ разсудить, папу къ мѣсту опредѣлить и Бисмарково счастье составить? Викторъ упадетъ въ обморокъ отъ одной мысли убить послѣдняго гражданина Россійской имперіи, кредитующаго его синевкиными безъ от-

дачи. Остается Ратомскій... Его натравливать на меня не совѣтую: не удастся.

— Посмотримъ!

— То-есть натравить то ты его натравишь, но—берегись! я его мигомъ образумлю. Въдь, ты не признаешься ему, что ты вовсе не ангелъ красоты, доброты и невинности, а просто дачная Ребсеска Шарпъ—авантюристка, готовая выйти за кого угодно, въ возрастѣ отъ восемнадцати до восьмидесяти лѣтъ, лишь-бы прикрытъ приличнымъ именемъ нѣкоторые грѣшки прошлаго?

— И *вамъ* не стыдно укорять меня? *вамъ*?..—презрительно подчеркнула Серафима.

— Ничуть не стыдно. Я—для тебя былъ только однимъ изъ малыхъ сихъ... Мнѣ тебя, два года тому назадъ, такъ и рекомендовали: вотъ, примите къ свѣдѣнію,—барышня, которая никакихъ ухаживаній не пугается... А рекомендовалъ Горѣлинъ, лицеистъ: тебѣ эта фамилія извѣстна. Я у него твою карточку видѣлъ... съ надписью выразительной. Про меня, Горѣлина и его, предшественниковъ ты, конечно, Ратомскому не скажешь. Слѣдовательно, чтобы натравить его на меня,—тебѣ придется что-нибудь нагать. Смотри! у меня твои письма есть: они такую о тебѣ правду пораскажутъ, что хуже всякой лжи.

— Вы способны открыть тайну женщины?

— Если меня берутъ за шиворотъ,—очень способенъ.

— Какъ вы подлы!

— За то ты какъ честна!..

— Да, наконецъ, скажи, пожалуйста,—заговорила Серафима уже другимъ, значительно пониженнымъ тономъ,—что съ тобою? Откуда это донъ-кихотство... рыцарство безъ страха и упрека? Совсѣмъ къ тебѣ не пристало даже!

— У меня душа есть.

— Душа?!

— Да, душа. Ново для тебя?.. Х-ха!.. что я шелопай,— знаю; можетъ-быть, даже и негодяй, но у меня есть душа. Ты въ звѣринцахъ бывала? кормленіе дикихъ звѣрей видала? знаешь, какъ удавъ кролика хапаетъ?

— Ну... видала...

— Занятно?

— Къ чему все это?—досадливо возразила Серафима.

— Нѣтъ, скажи: занятно?

— Очень.

— Видишь, даже очень... А у меня отъ этой занятости истерика сдѣлалась, и чуть-чуть я не попалъ въ участокъ, потому что полѣзъ бить этого самаго звѣринаго кормителя.

— Пьяный?

— Трезвый.

— Чувствителенъ слишкомъ.

— Да, чувствительнѣй тебя... а, пожалуй, и большинства вашей сестры, женщинъ. Про жевскую чувствительность—только такъ, пустая молва идетъ; на самомъ-то дѣлѣ у васъ не нервы, а вервѣ простое. Теперь это и наукой доказано. На вашихъ нервахъ давиться можно.

— Значить, я—удавъ, а твой Ратомскій—кроликъ?

— Voilà tout.. Когда я увидалъ изъ дворца всю эту вашу нѣжную сцену, меня схватило за горло какъ разъ тою же хваткой, что въ звѣринцѣ... Скверное у тебя лицо было!

— Это, однако, даже лестно для меня, что ты меня считаешь такой опасной...

— Для кроликовъ.

Серафима Владиміровна гнѣвно передернула плечами и встала со скамьи.

— Скажи Виктору и Рутинцеву, чтобы приходили въ бильярдную... желаю шары катать... сказалъ ей на прощанье Квятковскій.

Онъ закурилъ сигару и долго сидѣлъ одинъ, довольный „усмиреніемъ строптивой“, какъ мысленно назвалъ

онъ происшедшую между нимъ и Серафимой сцену, хитро усмѣхаясь всѣмъ своимъ умнымъ блѣднымъ лицомъ. Изъ задумчивости вывели его странные звуки за ближнимъ кустомъ жимолости, какъ нельзя больше похожіе на взвизгиванья ошпаренной кипяткомъ собаки. Квятковскій направился къ кусту и открылъ... Володю! Юноша лежалъ ничкомъ, уткнувъ носъ въ траву, и, рыдая на голосъ, трясся всѣмъ тѣломъ и судорожно колотилъ носами сапоговъ въ сырую землю...

— Фюитъ!—свистнулъ Квятковскій,—онъ насъ слышалъ.—Батюшка, Владиміръ Александровичъ! вставайте! Что ревѣтъ-то? и еще животомъ на землѣ лежит! пищевареніе застудите и брючки запачкаете... Вставайте, господинъ! честью просять!..

Цѣлый часъ водилъ Квятковскій Володю по парку, терпѣливо слушая первые взрывы его отчаянія... Ровный, спокойный, насмѣшливый тонъ молодого человѣка подѣйствовалъ на Ратомскаго; мало-по-малу рыданія его стихли, осталась только тяжесть на сердцѣ...

— Крѣпитесь! будьте мужчиной!—ободрялъ Квятковскій.

— Ахъ, Кв... Кв.. Квятковскій!.. такое раз... разочарован... ваніе...—всхлипывалъ юноша.

— Ничего! Такія-ли еще бываютъ! Все къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ: обожглись на молокъ, впередъ будете дуть и на воду!

— И такъ рѣзко... сразу...

— Сразу-то лучше: баць, и готово!—какъ гильотина. Корф—аб! Корф—{аб! Знаете медицинскую формулу: quod ignis non sanat, ferrum sanat...

— Я любилъ ее...

— ...Гораціо! прибавьте „Гораціо“, такъ красивѣй будетъ. Любили,—такъ разлюбите. „Нѣтъ, не любовь—презрѣнье къ ней!“—это даже и въ „Гугенотахъ“ поется.

— Что мнѣ дѣлать? что мнѣ дѣлать?—восклицалъ Во-

лодя, ломая руки уже съ нѣскольکو напускнымъ трагизмомъ.

— А пойдѣте на биллиардѣ играть. Насъ Викторъ ждетъ. Я *этой* велѣлъ его прислать. Вамъ Викторъ сколько очковъ впередъ даетъ?

— Пятнадцать,—машинально отвѣчай Володя, сбитый съ толку изумительнымъ переходомъ Квятковскаго изъ области поэтическихъ страстей въ царство презрѣнной прозы.

— Вотъ мошенникъ! Пятнадцать и я вамъ дамъ, а куда же мнѣ до Виктора Арагвина. Онъ васъ просто навѣрняка обыгрываетъ. Такъ идемъ?

— Идемъ...—мрачно сказалъ Володя, послѣ нѣкотораго молчанія, глядя въ землю,—мнѣ необходимо общество... я одинъ съ ума сойду... Ахъ, Квятковскій! если-бы вы знали, что дѣлается въ моемъ сердцѣ... Невыносимое положеніе!.. Напиться бы, что ли... броситься бы въ какую-нибудь безумную оргію...

— ...Этакъ рубля по полтора съ человѣка,—въ тонъ ему закончилъ Квятковскій, такъ что Володя невольно улыбнулся,—что-жъ? и это въ нашей власти... поужинаемъ!..

Они быстро перешли плотину, отдѣляющую паркъ отъ запруднаго Царицына.

— И вотъ заведеніе. Пожалуйте!—воскликнулъ Квятковскій.

Володя вздохнулъ, въ послѣдній разъ нахмурился и махнулъ рукой. Дачный трактирчикъ съ биллиардами принялъ въ свои нѣдра новаго Фауста и его Мефистофеля, какъ мирная пристань, поканчивающая тревоженія и бури долгаго и бесполезнаго плаванія. Полчасомъ позже, срѣзая семерку въ среднюю стало для Володи важнѣе всѣхъ Серафимъ на свѣтѣ. Миръ праху отцвѣтшей безъ расцвѣта первой любви!

II.

Н а в о д ъ .

Въ неглубокомъ, на половину заросшемъ осокой, заливѣ озера, между двумя тѣсно сходящимися стѣнами стараго лиственнаго лѣса, качались надъ гладкой водной поверхностью двѣ пары лыжъ. Пловцы — Евлалія Ратомская и артиллерійскій офицеръ Арнольдъ — доставили свои суденышки теченію и, положивъ на колѣна длинныя двулапыя весла, совсѣмъ и не думали догонять далеко уплывшую впередъ лодку, съ которой едва слышно доносились къ нимъ смѣхъ и пѣсни знакомыхъ имъ голосовъ.

Въ лодкѣ плыла веселая молодая компанія: нѣскольکو дней тому назадъ, сестра Евлаліи Ратомской Ольга была объявлена невѣстою нѣкоего г. Карѣева, и теперь она справляла свой дѣвичникъ пикникомъ на водѣ. Ратомскіе—московская дворянская семья, небольшая: старуха-мать, двѣ дочери и сынъ,—и денежная. Покойный глава семьи, сидя двадцать пять лѣтъ на значительномъ, хотя и не видномъ, мѣстѣ, сколотилъ себѣ и оставилъ дѣтямъ недурное состояніе; Ратомскіе живутъ пенсіей и рентой и живутъ гораздо скромнѣе, чѣмъ позволяли бы средства. Они не держатъ ни лошадей, ни мужской прислуги; лѣто проводятъ не въ Крыму и не за границей, а гдѣ-либо на подмосковной дачѣ; у нихъ не бываетъ *jours fixes*’овъ. И это не по скупости, а потому, что такой порядокъ въ домѣ сложился еще при

жизни стараго Ратомскаго, когда наживалось состояніе, и сложился такъ прочно, хорошо и естественно, что наслѣдники не чувствуютъ потребности выходить изъ старой колеи. Во всемъ, на что является непремѣнный и разумный запросъ, Ратомскіе себѣ не отказываютъ. Барышни всегда одѣты по сезону; въ театры онѣ ѣздятъ рѣдко — за то непремѣнно въ бенуарь; мать держитъ для нихъ полугувернанткою, полукомпаньонкою обрусѣвшую французенку Алису Ивановну Фаварь. Ратомскіе — красивая семья; особенно хороша Евлалія, шатенка съ большими синими глазами и тонкимъ профилемъ, выдающимъ ее на половину польское происхождение: мать ее полька, хотя и родилась въ Россіи и отъ обрусѣвшихъ родителей. У Евлаліи хорошая улыбка, глубокой вдумчивый взглядъ и „необщее“ выраженіе лица. Если-бы не это, старшая сестра затмѣвала-бы ее: Ольга — очень эффектная, живая блондинка, сложена гораздо лучше Евлаліи и выше ее ростомъ. На вечерахъ больше танцуетъ и привлекаетъ вниманіе мужчинъ Ольга, но, когда въ театрѣ Евлалія сидитъ у барьера ложи, къ ней невольно обращаются бинокли знакомыхъ и незнакомыхъ. За Ольгой больше ухаживаютъ, въ Евлалію больше влюбляются. Въ обществѣ сестеръ зовутъ въ шутку сестрами Лариными изъ Онегина. Онѣ очень дружны. Обѣ онѣ — лучше воспитанныя, чѣмъ образованныя дѣвушки; читали не слишкомъ мало, чтобы быть невѣжественными, не слишкомъ много, чтобы щеголять развитіемъ. Юноши, охотники до умныхъ разговоровъ, находятъ въ нихъ молчаливыхъ, но довольно внимательныхъ слушательницъ и снисходительно соглашаются, что если-бы Евлалія сьумѣла „отряхнуть отъ ногъ своихъ прахъ устарѣвшаго воспитанія и семейныхъ традицій“, то изъ нея вышла бы недюжинная натура. Но она этого праха не отрясаетъ. Юноши, охот-

ники танцовать, находятъ сестеръ Ратомскихъ самыми очаровательными дамами для мазурки. Какъ тѣ, такъ и другіе юноши пишутъ сестрамъ стихи и даже печатаютъ ихъ въ еженедѣльныхъ журналахъ. Для полной характеристики сестеръ остается добавить, что онѣ прослыли очень разборчивыми невѣстами. Ольга наконецъ, нашла свою судьбу,—Еввалія продолжаетъ отклонять предложеніе за предложеніемъ. Сватался миллионеръ-овцеводъ Рамзай, сватался красавецъ-адвокатъ Гарусовъ, сватались еще пять-шесть жениховъ,—и всѣ съ карьерой и со средствами, — но получили неизмѣнный отказъ...

— Небесскихъ мигдаловъ хце! *), — въ минуты раздраженія говорить о дочери старуха Ратомская.

Артиллерійскій офицеръ Арнольдъ тоже одинъ изъ отвергнутыхъ. Это влюбленный изъ типа, въ существованіе котораго плохо вѣрять, а который, между тѣмъ, такъ часто встрѣчается: самоотверженный рабъ, сидящій у ногъ своей царицы, ничего отъ нея для себя не чая и не добываясь. Такіе люди несутъ любимой женщинѣ золото—любовь, женщина награждаетъ ихъ серебромъ—дружбою, и они считаютъ себя счастливыми, зажмуривая глаза на невыгодность сдѣлки.

Закатъ игралъ еще кровавымъ отблескомъ на верхушкахъ деревьевъ, но внизу уже сгущались ночныя тѣни, и надъ осокой заблѣбли тонкія струйки тумана.

— Какъ мы отстаи, однако! — сказала Еввалія и певельнула весломъ.—Но здѣсь такъ хорошо и тихо, и такой славный свѣтъ, что лѣнь двигаться изъ этого уголка. Впрочемъ—черезъ полчаса, теченіе, все равно, принесетъ насъ къ пристани. Алиса Ивановна будетъ недовольна и, если посмѣетъ, сдѣлаетъ мнѣ выговоръ

*) Непереводимое польское выраженіе, означающее, что человѣкъ желаетъ невозможнаго, недостижимаго.

за то, что я пропадаю Богъ знаетъ гдѣ, tête à tête съ вами. Она ни слова не сказала бы, сиди на вашемъ мѣстѣ Рамзай или Гарусовъ, но вы—дѣло другое: для своей любимицы она желаетъ мужа по-крупнѣе скромнаго артиллерійскаго поручика, а сильно подозрѣваетъ, что мое бѣдное сердце заполонено вами. Она васъ терпѣть не можетъ и называетъ васъ за глаза le grand fusilier... Почему—fusilier?

Евѣлія громко засмѣялась. Улыбнулся и Арнольдъ.

— Богъ съ ней!—возразилъ онъ густымъ низкимъ голосомъ,—мы съ ней—какъ двѣ ревнивыя собаки: своя Фиделька ворчитъ на чужого Азора всякій разъ, какъ хозяйка погладитъ пришлага пса по шерсти. Я ее, въ сущности, очень люблю.

— За что?.. Ахъ, да! Впрочемъ, я и забыла: вы, вѣдь, всѣхъ любите. Въ самомъ дѣлѣ, вы странный человѣкъ, Ѳеодоръ Евгеніевичъ. Сколько я васъ знаю, я ни разу не слышала, чтобы вы дурно отозвались о комъ либо. Или вы хвалите человѣка, или молчите о немъ. Это мнѣ нравится. Я бы сама желала быть такою. Вы учите меня!

— Чему это, Евѣлія Александровна? — задумчиво отозвался Арнольдъ.

— Не судить людей.

— Эта наука мнѣ не по силамъ, Евѣлія Александровна. Вы напрасно думаете, что я безразличенъ къ людямъ. Нѣтъ, я только не люблю о нихъ говорить. Видите-ли, я довольно узкій человѣкъ. У меня есть извѣстный нравственный кодексъ; я вѣрую въ его предписанія. Если-бы мнѣ пришлось нарушить которое-нибудь изъ нихъ, то жить мнѣ было-бы очень трудно, тяжело и совѣстно, потому что отступить отъ этого кодекса, по моему мнѣнію, можетъ только негодяй или заблуждающійся человѣкъ. Я неважнаго мнѣнія о лю-

дяхъ, и думаю, что негодяевъ на свѣтѣ больше, чѣмъ заблуждающихся. Но я такъ полагаю: если я вижу зло, то или не имѣю права говорить о немъ, или, во имя нравственности, долженъ противоборствовать ему. Тоже и съ человѣкомъ. Или ты совсѣмъ не суди его, или, если считаешь его вреднымъ, истреби его, сведи на нѣтъ. Но въ цѣломъ свѣтѣ зла не выведешь, всѣхъ негодяевъ по рукамъ и ногамъ не скрутишь; донъ-Кихотомъ быть у меня нѣтъ ни охоты, ни возможности. Я не герой широкаго размаха; мой міръ тѣсенъ. У меня есть служба: она мнѣ предписываетъ извѣстный долгъ, — и вотъ я знаю и люблю свой шестокъ—свою батарею и своего солдата; у меня есть семья, есть кружокъ любимыхъ друзей: вотъ здѣсь я свой, родной человѣкъ, и не вялый, а дѣятельный! Я стою на стражѣ всѣхъ, кто мнѣ близокъ, и негодяя къ нимъ не подпущу, а встану противъ него грудью, и ужъ пощады не дамъ и самъ не попрошу. А такъ какъ на все наше общество съ такимъ принципомъ не раскинешься, то я и взялъ себѣ правиломъ: держись своей рамки, береги ея честь и цѣлость, не лѣзь въ чужія дѣла безъ спроса и не выражай своего мнѣнія о людяхъ, чьи достоинства ты не имѣешь ни времени, ни средствъ провѣрить и до кого лично тебѣ, въ сущности, нѣтъ никакого дѣла. Можетъ быть, это нѣсколько педантично, сухо и... скучно, но, мнѣ кажется, что такъ честнѣе...

— Да... честнѣе...—задумавшись, довольно нерѣшительно повторила Евлалія, — вы славный человѣкъ, Федоръ Евгениевичъ... васъ хорошо имѣтъ своимъ другомъ.

И, пользуясь тѣмъ, что теченіе сблизило лыжи, она протянула ему руку. Арнольдъ съ жаромъ поцѣловалъ ее.

— Знаете, я съ перваго нашего знакомства почувствовала, что мы съ вами будемъ друзьями. Вѣдь, это было, кажется, въ собраніи... васъ представилъ Гару-

совь... Я никогда потомъ не могла понять, отчего вы, всегда спокойный, находчивый, un homme tout a fait comme il faut, показались мнѣ сперва — простите за откровенность! — страннымъ, неуклюжимъ, даже немножко смѣшнымъ. Новы мнѣ сразу стали симпатичны: у васъ въ глазахъ тепло было...

Федоръ Евгеніевичъ радостно засмѣялся.

— Еще-бы! Я тогда уже два часа, какъ былъ влюбленъ въ васъ! По крайней мѣрѣ, такъ кажется мнѣ теперь, потому что я не могу уже представить себѣ такого времени, чтобы я зналъ васъ, а еще не любилъ. Первый образъ, въ которомъ вы представляетесь мнѣ, — какъ я впервые васъ увидѣлъ, въ вальсѣ съ Гарусовымъ, — уже дорогъ мнѣ, я уже люблю васъ въ немъ и мучительно завидую Гарусову.

— Перестаньте, Федоръ Евгеніевичъ! Вы знаете, что я не люблю, когда вы такъ говорите. Вѣдь, мы условились, что мы друзья — только друзья. Зачѣмъ вы наводите разговоръ на старую исторію?

Евладія нѣсколько разъ сильно ударила весломъ по водѣ и опередила Арнольдса. Онъ догналъ ее.

— Вы сердитесь? робко проговорилъ онъ, — простите меня: я забылся. Этого не будетъ въ другой разъ.

Евладія молчала и гребла, упорно глядя въ одну точку передъ собою. На черты ея прекраснаго лица — уже неясныя въ надвигавшихся сумеркахъ — легла, какъ казалось Арнольдсу, печальная тѣнь.

— Нѣтъ, не то! — рѣзко сказала она вдругъ и затормозила весломъ лыжи, сердито пѣня черную воду, — зачѣмъ притворяться? Я хочу быть съ вами откровенною, какъ съ самой собою, потому что уважаю васъ. Я не сержусь на васъ, а мнѣ неловко, стыдно, когда я слышу васъ говорящимъ о любви, — мнѣ стыдно, что я не люблю васъ такъ, какъ вы хотите...

— Евлалія Александровна!—взволнованно вскричаль Арнольдсъ.

— Да, стыдно!.. Я никого не знаю, кто стоилъ бы любви больше, чѣмъ вы, и, вѣроятно, никого не узнаю. Я васъ уважаю; вы мнѣ дороги... и все-таки я чувствую, что любить васъ, быть вашей женой не могу, не въ силахъ!

— Евлалія Александровна! — сдержанно возразилъ Федоръ Евгениевичъ, — извините меня, если я скажу вамъ на это нѣсколько словъ, несмотря на ваше запрещеніе. Вотъ видите-ли: вы говорите сами, что имѣете ко мнѣ дружескія чувства, уважаете меня, я вамъ нравлюсь. Клянусь вамъ, что, когда я дѣлалъ вамъ предложеніе, то и не мечталъ получить больше того, что вы даете мнѣ этими словами. Я далекъ отъ мысли зажечь страсть къ себѣ въ вашемъ сердцѣ: я считалъ и считаю васъ слишкомъ выше себя. Право любить васъ и беречь, какъ свое сокровище, открыто поклоняться вамъ, какъ своей святынѣ, немного дружбы и довѣрія, да честное отношеніе къ имени, которое я вамъ дамъ,— вотъ все, чего я требовалъ-бы отъ нашего брака, чего мнѣ довольно.

— Да мнѣ-то недовольно. Федоръ Евгениевичъ!—перебила Евлалія Александровна, — дружба... уваженіе... довѣріе... все это хорошо; но для того, чтобы вмѣсто Ратомской назваться Арнольдсъ, мнѣ дѣйствительно надо почувствовать себя не Ратомской, а Арнольдсъ; чтобъ я сознавала себя не маминой, не сестриной, не своей, а вашей, совсѣмъ безраздѣльно вашей, и сознавала-бы раньше вашего признанія, вашего перваго поцѣлуя. Я не знаю, права-ли я; можетъ быть, и нѣтъ; можетъ быть, я слишкомъ требовательна въ своихъ запросахъ отъ жизни: идетъ-же Оля—а ужъ она-ли не безусловно честная дѣвушка!—за Евграфа Сергѣевича

потому лишь, что онъ ее любить, не противенъ ей и извѣстенъ за добраго малаго и порядочнаго человѣка... А инныя и безъ того выходятъ—на авось, на „стерпится-слюбится“—и ничего... живутъ... Но я иначе не могу. Еще подростками мы въ этомъ расходились съ Олей: она всегда мечтала выйти за „хорошаго человѣка“, а я то думала о монастырѣ, то—какъ меня будутъ любить, и какъ я полюблю,—полюблю, и ужъ ничего у меня не будетъ въ душѣ, кромѣ этой любви!

Совсѣмъ стемнѣло. Блѣдный серпъ молодого мѣсяца поднялся надъ лѣсомъ, но еще не давалъ свѣта. Арнольдъ съ трудомъ различалъ впереди себя сѣрое платье своей спутницы, быстро подвигавшейся къ пристани. Они уже выплыли изъ залива.

— Любовь!—тихо, какъ будто про себя, произнесъ Арнольдъ, — да знаете-ли вы, дитя мое, по крайней мѣрѣ, что это за чувство, чего вы ждете, во что вѣруете?.. А то, вѣдь, любовь придетъ къ вамъ, а вы ее и не узнаете!

Евѣлія молчала. Она плыла по отраженію прибрежнаго лѣса и совсѣмъ исчезла на фонѣ черной воды и темныхъ деревьевъ. Только всплески воды доносились до слуха Арнольда. Наконецъ онъ услышалъ:

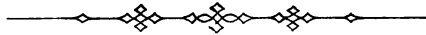
— Я много думаю о любви, но говорить о ней не умѣю.

Арнольдъ вздохнулъ и ничего не возразилъ. Вдали показались разноцвѣтные фонарики лодочной пристани. Всплески весла впереди прекратились и въ темнотѣ, тепло и страстно, нѣжнымъ звенящимъ звукомъ раздался голосъ Евѣліи, и, хотъ говорила она тихо, но, какъ показалось Ѳедору Евгеньевичу, огромное, какъ міръ, и важное, какъ вѣчность, слово:

— Любовь — это вотъ: чтобы вся жизнь пламенемъ вспыхнула, горѣла-горѣла долго, а потомъ-бы погасла... и смерть!

— Вотъ такъ-то я и люблю тебя! подумалъ Федоръ Евгениевичъ, и въ груди его что-то задрожало, и весь онъ сталъ полонъ этой страстной мыслью, и самъ чувствовалъ, какъ она отпечатлѣлась и засвѣтилась на его мужественномъ, облагороженномъ любовью лицѣ, и былъ радъ, что темно и что Евлаія не видитъ его въ эту минуту беззавѣтной страсти. Онъ такъ любилъ и такъ наслаждался блаженствомъ любить, что сейчасъ ему не надо было и взаимности, чтобы быть счастливымъ...

Къ пристани они доплыли, уже не сказавъ другъ другу ни одного слова больше...





„ВЪ ЖИТЕЙСКОМЪ МУРАВЕЙНИКЪ“.

- а) Двѣнадцатое января.
- б) Отравитель.
- в) Первая пощечина.
- г) Любитель.
- д) Какъ умираютъ москвичи.





ВЪ ЖИТЕЙСКОМЪ МУРАВЕЙНИКЪ.

а) Двѣнадцатое января.

12-го января 1884 года, мы, бывшіе студенты М-скаго университета выпуска 186* года, рѣшились пообѣдать вмѣстѣ въ отдѣльномъ кабинетѣ Славянскаго Базара. Насъ собралось всего десять человѣкъ: присяжный повѣренный Прогорѣловъ, докторъ Посидѣлкинъ, поэтъ Урагановъ, редакторъ - издатель газеты „Шантажъ“ Грандіозовъ, желѣзнодорожникъ Кусковъ, мировой судья Подполковницынъ и еще кое-кто. Все, какъ видите, тузы: Кусковъ, на примѣръ, въ пяти милліонахъ считался.

Пообѣдали и, надо сказать, отлично пообѣдали: съ шампанскимъ, ликерами, дорогими фруктами. Но, пообѣдавъ, мы очутились въ довольно глупомъ положеніи—именно, мы рѣшительно не знали, что намъ дальше дѣлать. За столомъ было сказано все, что могли сказать другъ другу люди, которые дѣтъ двадцать тому назадъ сошлись подъ пьяную руку на „ты“ и между которыми кромѣ этого „ты“ не осталось рѣшительно никакой связи. Между супомъ и зеленью мы рѣшили судьбу махди (онъ тогда волновалъ умы), за жаркимъ обсуждали новый университетскій уставъ и вспоминали доброе старое время, Рулье, Ешевскаго, Никиту Крылова. За десертомъ помянули добрымъ словомъ Васильевыхъ, Садовскаго, Живокини и чуть не переругались въ спорѣ, кто

выше—Барнай или Поссартъ; рѣшили, что выше всѣхъ клоунъ Дуровъ; ликеры были сигналомъ къ единодуш-ной декламациі выдержекъ изъ Баркова, маркиза де-Садъ и Арманъ Сальвестра... Наконецъ, истощилась и эта, по-видимому, неистощимая тема. Мы курили, молчали и начинали скучать...

Но Прогорѣловъ не дремалъ. Онъ позвонилъ, и—черезъ десять минутъ предъ нами, въ громадной пуншевой чашѣ, пылала на диво заваренная жженка...

— По старому, господа! по студенчески!—коман-довалъ Прогорѣловъ,—помните? Эхъ, годы были!..

Наливай сосѣдь сосѣду,
Сосѣдь любить пять вино!

Мы несказанно обрадовались. Разговоры возобнови-лись съ пущей прежняго энергіей. Липкая влага пріятно жгла намъ горло и отуманивала головы. Мы, что на-зывается, разошлись и даже попытались спѣть хоромъ *Gaudeamus*, хотя—съ прискорбіемъ долженъ сознаться—одинъ только Прогорѣловъ стоялъ на высотѣ призванія; я невольно сбивался на мотивъ „Коль славенъ“, а судья Подполковницынъ, держась въ басу, пренаивно варьи-ровалъ тему марша изъ „Боккачіо“. Я былъ въ духѣ настолько, что уже началъ было снимать съ себя сюр-тукъ, но, къ счастью, во время сообразилъ, что я не сту-дентъ, а надворный совѣтникъ и кавалеръ.

Мы выпили за *Alma mater*, за покойниковъ-профес-соровъ, за живущихъ и дѣйствующихъ товарищей, за университетскаго швейцара—выпили и совсѣмъ захмѣ-лѣли. А, захмѣлѣвши, впали, какъ свойственно русскимъ интеллигентамъ, въ обличительный паэосъ, и весьма быстро пришли къ тому убѣжденію, что всѣ люди — пошляки и свиньи, живутъ только для карьеры и денегъ, чужды всякихъ моральныхъ интересовъ, а мы, вкушъ и влюбъ собравшіеся въ кабинетикъ Славянскаго Базара,

представляемъ, такъ сказать, преисполненный солью земли оазисъ въ житейской пустынѣ. Ну, и остановиться бы намъ на этомъ рѣшеніи, и успокоиться бы, — такъ нѣтъ: поэтъ Ураганова окончательно обуялъ бѣсъ обличенія и, менѣе, чѣмъ въ пять минутъ, наговорилъ его устами каждому изъ насъ кучу пренепріятныхъ откровенностей, бросавшихъ тѣнь и на наши незапятнанныя души. Сперва мы разсердились и хотѣли побить Ураганова, какъ пророка Іеремію, только не камнями, а подсвѣчниками, но жженка дѣлала свое: мы раскисли, размякли, изъ духа обличенія перешли въ покаянное настроеніе. Кусковъ рыдалъ: „только святой устоялъ бы на моемъ мѣстѣ отъ искушенія ставить словныя шпалы вмѣсто дубовыхъ!“ Прогорѣловъ оралъ: „попробуй-ка, поищи теперь честныхъ клиентовъ! Чорта съ два найдешь! Теперешній клиентъ—подлецъ: ты его защищаешь, а онъ тѣмъ временемъ у тебя же платокъ изъ кармана тащитъ!“

Словомъ, пришлось намъ убѣдиться, что и мы не того... и даже очень не того...

— Опошлѣли! освинѣли! шерстью обросли!—плакался Грандіозовъ,—вѣдь, я когда-то Байрономъ мечгалъ быть, Тургенева хотѣлъ обогнать, а чѣмъ кончилъ? Издаю газету „Шантажъ“ или „Трепещи, правда! — свинья идетъ!“

— Да еще по цѣлому году должнаешь своему передовику! А у него жена, дѣти! извилъ Урагановъ—эхъ ты! А впрочемъ Богъ простить... я самъ—скотина порядочная.

— Да, господа!—меланхолически заключилъ Подполковницынъ,—и врядъ-ли кому-нибудь изъ насъ пришлось въ жизни перечувствовать тѣ свѣтлыя минуты, рядомъ какихъ было наше студенчество.

Мы поспѣшили согласиться, но докторъ Посидѣлкинъ

протестовалъ. Кстати сказать: пилъ онъ втрое больше всѣхъ, а одинъ изъ всей компаніи былъ трезвъ.

— Не знаю,—сказалъ Посидѣлкинъ,—какъ прочіе, а я пережилъ...

Мы такъ и накинулись на доктора: „разсказывай!“

— Извольте. Это было... когда умерла одна моя старая знакомая... пассія студенческихъ временъ.

— Кой чортъ? наслѣдство что-ли оставила она тебѣ?

— Не налазьте, а молчите и слушайте. Штука не въ наслѣдствѣ, а въ томъ... въ томъ... ну, да просто въ томъ, что она — слава Богу! — умерла. Любочка (такъ ее звали) теперь была бы неоригинальна: этотъ типъ — студентки, курсистки — теперь на каждомъ шагу, а тогда еще былъ рѣдкостью въ родѣ зубра Бѣловѣжской пушцы. Была она бѣдна, какъ церковная мышь, экзальтирована, честна до нищенства, вѣрила въ науку до фанатизма и, хоть, по тогдашней модѣ, подсмѣивалась надъ искусствомъ, однако бѣгала тайкомъ въ Пашковскій домъ посматрѣть картины. Я тогда былъ тоже въ этомъ вкусѣ — студентиче этакій семинарскаго закала... Влюбилась мы другъ въ друга... О бракѣ, конечно, и не помышляли, да ничего особеннаго и не было между нами: такъ, книжки вмѣстѣ читали да философствовали, какъ мы пользу родинѣ принесемъ... Однажды бесѣдуемъ съ Любочкой. Она вздохнула и говоритъ мнѣ: — вотъ, мы съ вами толкуемъ — и все такъ хорошо, а кончите вы курсъ, выйдете изъ университета, васъ и не узнаешь!

Я обидѣлся. Говорю:

— Любочка! дайте мнѣ слово, что если я когда-нибудь измѣнюсь, вы меня накажете! Любочка! Если вы узнаете, что Посидѣлкинъ гонить отъ себя народъ, дайте Посидѣлкину собственноручную пощечину! Если вы узнаете, что Посидѣлкинъ ѣздитъ въ каретѣ, дайте ему

другую! Если вы узнаете, что у Посидѣлкина квартира больше, чѣмъ въ три комнаты, плюйте Посидѣлкину въ лицо!

— Хорошо. Запомню. и исполню. Вы можете принять тѣ же мѣры, если я измѣню своимъ убѣжденіямъ.

Она говорила нѣсколько книжно, но говорила, что чувствовала. И представьте себѣ: вѣдь, не измѣнилась! Нищей была, нищей и умерла! Писала мнѣ незадолго передъ смертью: „я свое слово сдержала. Хочу собраться въ Москву (она въ то время въ Черниговѣ у родныхъ жила), посмотрѣть, какъ вы свое держите“.

Господа! Когда я прочиталъ письмо, я струсилъ... мнѣ стало стыдно... посмотрѣлся въ зеркало: красенъ, какъ ракъ. Господа! у меня въ это время была такса: визитъ 25 р., приемъ у меня на дому—15 р. Я держалъ двѣ смѣнныя пары рысаковъ. Я только что купилъ шикарный домъ въ самой модной части Москвы. Судите сами—во что-бы обратила Любочка мою симпатичную физиономію! А она исполнила-бы обѣщаніе, непременно исполнила-бы, я знаю...

И вдругъ телеграмма: умерла.

Вѣрите-ли, я такъ обрадовался, что теперь самому смѣшно вспомнить. Какъ мальчишка. Словно съ Любочкой и стыдъ умеръ!.. Просто одурѣлъ: даже двухъ, бѣдныхъ больныхъ бесплатно принялъ... Э-эхъ, жизнь!

И докторъ съ ожесточеніемъ выпилъ.

— А что-бы ты сдѣлалъ, если-бы Любочка въ самомъ дѣлѣ плюнула тебѣ въ лицо?—спросилъ Прогорѣловъ.

Посидѣлкинъ махнулъ рукой. Мы съ любопытствомъ обратили взоры на его физиономію: физиономія была мужественная и благообразная... Мы посмотрѣли другъ на друга: у насъ тоже были мужественныя и благообразныя физиономіи...

Намъ стало очень скучно.

б) Отравитель.

Мы съ Марьей Борисовной катались въ Петровскомъ паркѣ.

— Послушайте!—сказала мнѣ Марья Борисовна,— замѣтили вы молодого человѣка, который мнѣ сейчасъ поклонился?.. Это—Ратыновъ.

— Какъ! тотъ самый...

— Да, именно „тотъ самый“... Онъ три раза вокругъ свѣта ходилъ...

— И научился храбрымъ быть?

— Вотъ про это-то я и хочу вамъ рассказать... Между нами престранныя отношенія. Онъ мѣня презираетъ, и—сказать по секрету—страстно любитъ; я его уважаю, но терпѣть не могу; и оба мы правы.

— Дѣло становится интереснымъ. Рассказывайте.

— Слушайте.

Прошлымъ лѣтомъ на террасѣ одной богатой дачи въ Сокольникахъ сидѣло за чаемъ большое общество и—совсѣмъ какъ у Гейне—бесѣдовало о любви.

— Не вѣрю я въ эти пылкія страсти!—сказала одна молодая дама.—Можетъ быть, и были онѣ когда-нибудь, да выдохлись: прогрессъ ихъ убилъ. Ромео былъ мальчишка. Отелло — диварь; имъ было простительно ставить любовь цѣлью всей жизни, рѣзать другихъ и самимъ умирать ради нея, но покажите мнѣ современнаго Ромео или Отелло, человѣка, который-бы ради любви пошелъ на преступленіе?

— Я никогда не любилъ!—возразилъ „никто“,—но взгляда вашего не раздѣляю и, если сказать вамъ прав-

ду, очень боюсь полюбить, потому что—если я полюблю, то, мнѣ кажется, именно такъ, какъ всѣ эти Ромео и Отелло.

— И ради любви, если будетъ надо, рѣшитесь на преступленіе.

— Ради любви стоитъ на все рѣшиться.

Эта фраза показалась дамѣ хвастовствомъ, и она вздумала проучить Ромео „конца вѣка“... Черезъ мѣсяцъ онъ стоялъ предъ дамой на колѣняхъ и объяснялся въ любви.

— Я васъ тоже люблю,—отвѣчала дама.—Вы красивы, умны, энергичны,—настоящій мужчина: васъ нельзя не любить... Но принадлежать вамъ я никогда не буду.

— Почему?—воскликнулъ *никто*.

— Потому что я замужемъ.

Лицо молодого человѣка скривилось, какъ будто онъ вмѣсто молока хватилъ уксуса, и сдѣлалось настолько свирѣпо, что дамѣ невольно пришло въ голову:

— А ну, какъ онъ и въ самомъ дѣлѣ способенъ на какую-нибудь средневѣковую дикость?!

Но она вспомнила, какъ ловки современные молодые люди на комедіи, и успокоилась. Она просила молодого человѣка удовольствоваться ея дружбой и стала часто видаться съ нимъ.

— О, какъ тяжела моя жизнь!—лицемѣрила она однажды, оставшись наединѣ съ своимъ другомъ.—И такъ пройдетъ вся жизнь, потому что я слабѣе мужа и умру раньше его. Да хоть бы ужъ поскорѣе, что-ли! Вы знаете: я не разъ собиралась покончить съ собой... Вы не вѣрите? Откройте ящичекъ въ моемъ туалетномъ столѣ—вы увидите банку съ бѣлымъ порошкомъ. Это—мышьякъ.

Во время этого монолога молодой человѣкъ таращилъ свои странные глаза еще диче, чѣмъ при первомъ свиданіи, а, по его уходѣ, банка съ ужаснымъ порошкомъ куда-то исчезла.

Дня черезъ два послѣ этой исторіи молодой человекъ и мужъ дамы сидѣли въ саду и пили пиво.

— Чортъ знаетъ, какое мерзкое пиво сегодня!—возмущался супругъ,—отдаетъ не то чеснокомъ, не то керосиномъ...

— Передержалось немного!—хладноврвно отвѣтилъ молодой человекъ.—Нѣтъ, пиво ничего себѣ—пить можно!

Дама была ни мало не удивлена, что супругу не нравится пиво, ибо она прекрасно видѣла съ террасы, какъ, въ одну минуту, когда мужъ зазѣвался на проѣзжавшую мимо коляску, собесѣдникъ его высыпалъ ему въ стаканъ изрядную дозу бѣлаго порошка изъ знаменитой банки.

Супругъ отправился спать, а молодой человекъ предсталъ своей красавицѣ.

— Мы свободны!—забормоталъ онъ,—я проклять въ этой жизни и будущей, но мы свободны.

— О чемъ вы говорите?—испугалась дама, кусая себѣ губы: ей было невыразимо смѣшно.

— Я... я... отравилъ вашего мужа!

— Э! полноте! Отъ салициловаго натра еще никто не умираетъ: напротивъ, этотъ пріемъ будетъ очень полезенъ противъ его ревматизма!

— Салициловый натръ!!!

Молодой человекъ сдѣлалъ такое энергическое движеніе, что дама взвизгнула, прочтя въ лицѣ своего друга полную рѣшимость сорвать съ нея голову. Но онъ сдержался и долго молчалъ, смотря въ упоръ на коварную возлюбленную, которой, надо сознаться, это разглядываніе доставляло мало удовольствія. Наконецъ онъ сказалъ:

— Такъ вотъ что! Вы меня мистифицировали. Не знаю, зачѣмъ понадобился вамъ этотъ обманъ, но теперь вы знаете, на что я способенъ. Еще недавно я чувство-

валъ себя честнымъ человѣкомъ, а уйду отъ васъ преступникомъ: я бросалъ салициловый натръ въ стаканъ вашего мужа съ полной увѣренностью, что отравляю его, и теперь неудавшееся убійство такъ же тяжело легло на мою совѣсть, какъ если-бы оно совершилось. До свиданія, madame, и на прощаніе вотъ вамъ совѣтъ: такъ какъ вы охотница до шутокъ, то будьте въ нихъ хоть немножко помягче: упражненія въ пошломъ безсердечіи не всегда безопасны.

И онъ ушелъ.

Съ моей стороны, право, великодушно самой рассказывать эту исторію, потому что я должна покаяться: молодой человѣкъ—никто иной, какъ Ратыновъ, а дама—ваша покорнѣйшая слуга!



в) Первая пощечина.

Разсказъ мой начинается съ того самаго момента, какъ Марья Сергѣевна дала пощечину своему супругу Алексѣю Трофимовичу. Вслѣдъ затѣмъ она ушла въ кресло, взвизгнула, захохотала, заплакала, заболтала ногами и вообще продѣлала все то, что прилично продѣлать благовоспитанной дамѣ, чувства которой оскорблены до необходимости впасть въ истерику. Алексѣй Трофимовичъ стоялъ съ видомъ полного недоумѣнія и, почесывая рукой ушибленное мѣсто, шепталъ:

— Но... но... однако... какіе-же прецеденты?!

Онъ припоминалъ: полчаса тому назадъ, онъ вернулся изъ должности въ самомъ благодушномъ настроеніи; Марья Сергѣевна встрѣтила его спокойно, хотя нѣсколько надувшись. На всякое чиханье не наздравствуешься; а потому Алексѣй Трофимовичъ, подаривъ настроенію супруги улыбку состраданія и два-три прочувствованныхъ слова—для приличія, а въ сущности—нуль вниманія, прошелъ къ шкафчику, вонзиль въ себя двѣ рюмки англійской горькой, закусилъ бѣлорыбцей съ хрѣномъ и пришелъ въ еще лучшее расположеніе духа. Въ ожиданіи обѣда онъ журавлинымъ шагомъ промаршировалъ черезъ всю свою небольшую квартирку, необыкновенно граціозно переступая на носкахъ изъ одной паркетной клѣтки въ другую и довольно похоже наигрывая на губахъ маршъ изъ „Карменъ“. Потомъ подошелъ къ окну и на запотѣвшемъ стеклѣ не безъ удовольствія расчеркнулся: Фазановъ... А. Фазановъ... Алексѣй Фазановъ... Сямъ и заканчивается рядъ „прецедентовъ“, если не относить къ нему „козу рогающую“, которою счастливый Алексѣй Трофимовичъ во внезапномъ приливѣ супружеской нѣжности угостилъ

Марью Сергѣевну. Въ отвѣтъ на козу и раздалась пресловутая пощечина... первая пощечина за три года супружества!

Марья Сергѣевна была удивлена своимъ поступкомъ не меньше самого Алексѣя Трофимовича и теперь, визжа и коверкаясь въ креслахъ, думала про себя „за что, бишь, это его я?“ и никакъ не могла сообразить; одно только знала она твердо и ясно, что Алексѣй Трофимовичъ, такъ или иначе, но виновать, ужасно виновать, и что, какъ скоро уже дана пощечина, то, значить, ее и слѣдовало дать. Впрочемъ, начну со вчерашняго дня...

Марья Сергѣевна проснулась довольно поздно. Вчера супруги были на вечеринкѣ у Пуликовыхъ, и на этой мерзкой толстухѣ Вавиловой было такое чудное платье изъ оая. Это платье всю ночь плясало передъ взволнованными глазами Марьи Сергѣевны: оно было какъ живое и то развивалось буфами и воланами, то съезживалось подъ скромной, но изящной отдѣлкой плиссе, то величественно влачилось по полу, шурша саженнымъ трэнемъ,—то, теряя трэнъ, пріобрѣтало видъ нѣсколько куцый и легкомысленный, но до послѣдней возможности модный... ахъ, какой модный!

Благодаря ночнымъ грезамъ, Марья Сергѣевна, какъ только подняла съ подушекъ отяжелѣвшую головку, такъ и сказала сейчасъ-же:

— Господи! какая я несчастная!

И, бросивъ взглядъ на ситцевую, уже потрепанную обстановку своей спальни, и на окна, въ которыя во всѣ свои сѣрые глаза смотрѣлъ кислый туманный день, убѣдилась, что она точно несчастная; а вошедшая въ это время кухарка Клавдія не менѣе справедливо заключила, что барыня встала съ постели лѣвой ногой, такъ какъ на невинный свой вопросъ:

— Барыня, прикажите купить къ обѣду соленыхъ огурцовъ?—получила довольно непослѣдовательный отвѣтъ:

— Ахъ, отстань, ради Бога! дайте мнѣ хоть умереть спокойно!

Тогда Клавдія мысленно констатировала фактъ, что „нынче на барыни черти ѣдутъ“, и стала резонно докладывать, что смерть—сама по себѣ, а огурцы—сами по себѣ, потому баринъ изъ службы придуть и ругаться будутъ. Барыня испустила глубокой вздохъ и, съ видомъ Ниобеи, лишающейся послѣдняго изъ чадъ своихъ, „дала Клавдіи злато и прокляла ее“.

Марья Сергѣевна не слишкомъ обременена занятіями: въ кухню она не заглядываетъ, основательно находитъ, что тамъ слишкомъ дурно пахнетъ; дѣтей у Фазановыхъ нѣтъ, читать она не охотница... Играть на пианино?—инструментъ разстроенъ до неприличія.

— Вѣдь, говорила я противному Алешкѣ, чтобы позвалъ настройщика!

Разговоръ объ этомъ происходилъ съ мѣсяць тому назадъ, а вотъ и до сихъ поръ не принесъ практическихъ результатовъ. Ахъ, тяжело имѣть неисполнительнаго супруга! Марья Сергѣевна погрузилась въ печальныя размышленія на эту привлекательную тему и, перечисляя рядъ супружескихъ промаховъ, скоро пришла къ вопросу: купилъ ли бы Алексѣй Трофимовичъ, если-бы она попросила, ей платье, какъ у Вавиловой? Она, конечно, не попросить, — она благоразумна, не мотовка и знаетъ, что при полуторастахъ рубляхъ мѣсячнаго жалованья нельзя дѣлать такихъ костюмовъ, да у ней еще и розовое сюрта довольно сносно, — но... если бы?! Да нѣтъ! не купить! ни за что не купить! Замахаетъ руками и закричитъ, какъ въ прошломъ году изъ-за стеклянусаго тюника:

— Что ты, матушка! Въ умѣ ли? при нашихъ ли капиталахъ? Тутъ дай Богъ обернуться: за квартиру заплатить, матери послать—а ты: оаеное платье!

— Тогда,—думала Марья Сергѣевна,—я сказала ему: если вы не въ состояніи сдѣлать женѣ тюникъ, зачѣмъ же вы женились?..“ И въ самомъ дѣлѣ: зачѣмъ онъ женился? Больше: какъ онъ, полтора-росту-рублевый труженникъ, смѣлъ жениться на ней, у ногъ которой умирали князь Тугоуховскій, баронъ Пимперле и концессионеръ Ландышевъ? Правда, князь Тугоуховскій сильно смахивалъ своей наружностью на ходячіе песочные часы, у барона Пимперле были какія-то странныя пѣжины на красномъ лицѣ и препротивно торчали уши, Ландышевъ даже ради объясненія въ любви не могъ вытрезвиться, а Алексѣй Трофимовичъ щеголялъ тогда такой славной русой бородой и такимъ красивымъ сочнымъ голосомъ декламировалъ стихи Надсона! Да, вѣдь, не съ бородой и не съ Надсономъ жить, а съ человекомъ!

— Нѣтъ! какъ я пошла за него, а главное, какъ онъ, мелюзга, смѣлъ сдѣлать мнѣ предложеніе? У, противный! Какую-бы карьеру я сдѣлала безъ его глупаго ухаживанія! Свой домъ... титуль... Ницца... зимой лежа въ итальянской оперѣ... ахъ, Мазини! ахъ, Фигнеръ! Господи, какая я несчастная! Какъ скучно жить!

— И хоть-бы развлекалъ чѣмъ! А то, вѣдь, онъ ничего... ну, совсѣмъ-таки ничего не умѣетъ: дуется со своимъ пріателемъ Оглашеннымъ въ какіе-то скучные шахматы, въ которыхъ конь такъ нескладно прыгаетъ черезъ клѣтку, что мнѣ, бѣдной дѣвчкѣ, во вѣкъ не понять его скачковъ—вотъ и все! Даже и Надсона забыть! Только и помнить еще: „не говорите мнѣ *онъ умретъ*—онъ живетъ“, а уже слѣдующій стихъ перевираетъ. Нѣтъ! несносный, несносный человекъ!.. У!..

Въ это время Алексѣй Трофимовичъ прошелъ подъ окнами и исчезъ въ сѣняхъ подъѣзда.

— Боже мой! и одѣться-то прилично ему лѣнь! На что похоже? — шуба въ грязи, воротникъ облѣзлый, а шапка! шапка! Въ кой-то вѣки отправился въ магазинъ одинъ, безъ меня, — такъ и тутъ не сдумѣлъ себя купить вещь, хоть немножко къ лицу!

Звонокъ.

— Сейчасъ войдетъ, нѣжничать станетъ; думаетъ, что очень приятно, удовольствіе составляетъ. Нѣтъ — мерси покорно! Еще прежде онъ былъ ничего-себѣ, куда ни шло, а теперъ какіе-то баки завелъ, и съ тѣхъ поръ, какъ началъ пить водку предъ обѣдомъ, у него вѣчно красныя жилки въ бѣлкахъ... фи!

Здоровается... ну, такъ и есть: цѣловаться лѣзетъ!.. Здравствуй, здравствуй, только не мучь меня, пожалуйста; мнѣ нездоровится.

И съ чего это онъ сегодня расторжествовалъ? Ишь шагаетъ, ишь! Какъ непріятно, когда этакая дылда мелькаетъ передъ глазами! Зачѣмъ я только выбрала себя такого большого?.. Трубить! носомъ трубить! а туда же хочетъ казаться солиднымъ человѣкомъ, отцомъ семейства!.. Это что еще? Мажетъ пальцемъ стекло! Тьфу!.. И какъ серьезно онъ все это продѣлываетъ; видимо — наслаждается, находитъ свои поступки необыкновенно умными и занимательными. Нѣтъ! мочи моей нѣтъ! видѣть его не могу! У, животное самодовольное! Убить тебя, убить, да уѣхать! Вотъ что!.. Лучше и не подходи ко мнѣ, гадкій! Ахъ, какая я несчастная!

И вотъ—въ ту минуту, когда Марья Сергѣевна уже совсѣмъ расположилась расплакаться, Алексѣю Трофимовичу пришла въ голову несчастная мысль познать жену „съ рогадой козій“... Дать супругу пощечину стало для Марьи Сергѣевны печальной, но необходимой потребностью!..

г) Любитель.

Пиковъ... Салатъ Оливье... Бѣфъ Строгановъ... Важно! Давно не пробовалъ такого завтрака, а послѣ репетиціи, накричавшись, умаявшись—оно куда хорошо. Мусьѣ (имени и отчества не имѣю чести знать), благодарю!.. Человѣкъ не свинья, душа мѣру знаетъ—я доволенъ. Вы благородная личность... Два часа тому назадъ, вы, узрѣвъ меня на репетиціи въ Секретаревкѣ, заинтересовались моею особою, пожелали узнать, кто я и что я. Отвѣтъ короткій: я—*любитель*... да-съ, любитель и только. Понимаете-ли вы, что это за званіе?..

Любители разные бываютъ.

Взять, на примѣръ, петербургскаго любителя — кто оня? Аристократъ: пажъ, гвардеецъ. Играетъ онъ въ шарадахъ да провербахъ или легонькихъ водевильчикахъ, ставить живыя картины, а зачѣмъ? Чтобы не звать въ общество за „птижками“, да свести во время репетиціи пріятную интрижку. Въ Петербургѣ настоящаго любителя нѣтъ: тамъ это дѣло клубы заѣли.

Въ провинціи любитель тоже швахъ. Тамъ орудуешь этимъ дѣломъ либо чиновникъ особыхъ порученій, либо полковой адъютантъ, либо товарищъ прокурора, а играютъ молодые люди изъ подающихъ надежды и дамочки, которыя по начальству: сестры, своячени; которой замужъ хочется, которой — просто пріятнымъ способомъ время провести, на репетиціяхъ съ кавалерами о чувствахъ потолковать, туалетомъ похвастаться. Тутъ ужъ не до искусства! не въ немъ штука! Тутъ съ одной стороны баклуши, амуры и баловство, а съ другой —

карьеру! Въ захолустьи какой-нибудь „водевилъ съ переодѣваніемъ“ иной разъ вывозить режиссера къ Станиславу! Да-съ!

Ну, а по нашему, по московскому, любительство—дѣло важное. Служеніе искусству у насъ потому и деликатнѣе, чѣмъ у гг. артистовъ, хотя бы и казенной службы. Вы смѣтаетесь? Докажу отъ логики. Господа артисты получаютъ жалованье? Получаютъ. Значить, они торгуютъ своимъ талантомъ, дѣлаютъ его средствомъ наживы. Мы жалованій не получаемъ, отъ спектаклей не наживаемся и даже весьма рѣдко окупаемъ расходы. Взгляните на меня: я худъ, тощъ, желтъ, у меня катарръ желудка отъ сквернаго питанія въ грошевыхъ кухмистерскихъ, катарръ гортани отъ житья въ подломъ сыромъ чуланѣ, откуда я никакъ не могу съѣхать, потому что не въ состояніи заплатить хозяйкѣ весь долгъ сразу,—а, вѣдь, я не нищій. Я получаю до пятидесяти рублей ежемѣсячнаго пособія отъ своихъ родныхъ. Я могъ бы получать еще больше, если-бы имѣлъ какую-нибудь работу. Виновать, лгу: если-бы хотѣлъ имѣть...

Я человекъ безъ образованія, но, смѣю сказать, не обдѣленъ талантами. Кто смѣетъ утверждать противное, тѣхъ я бью. Вотъ моя исторія. Семнадцати лѣтъ я поступилъ въ контору моего дяди, банкира; онъ не могъ мною нахвалиться; я велъ себя образцово цѣлый годъ, но въ началѣ второго—обрѣлъ свое призваніе, сыгравъ вмѣсто одного товарища роль г. Д. въ „Горѣ отъ ума“... Я увлекся... Роль за ролью, спектакль за спектаклемъ—и черезъ годъ послѣ моего дебюта дядя вышвырнулъ меня изъ конторы, ибо, контролируя книги, нашелъ цѣлыя страницы исписанными вмѣсто цифръ фамиліей нѣкоторой премьерши-любительницы, съ которой я игралъ Кудряша въ „Грозѣ“,—и моимъ собственнымъ театраль-

нымъ псевдонимомъ: Пимскій, Пимскій, Пимскій... А хотите знать мое родовое прозвище? Несуразно: Похлебкинъ.

Вы, безъ сомнѣнія, желаете знать, что за жизнь профессиональнаго любителя? Извините, батюшка: самъ любительствую четырнадцать лѣтъ, а затруднюсь объяснить. Встанешь это утромъ —хватишь рюмку водки, чтобы опохмѣлиться послѣ „вчерашняго“ (ужь и не запомню такого дня, чтобы не было этого „вчерашняго“). Глядь, одиннадцать часовъ, пора на репетицію — въ Секретаревку или Нѣмчиновку... Репетиція — дѣло извѣстное: роли никто ни въ зубъ толкнуть, всѣ дуемъ по суфлеру, оремъ на него, когда не *подаетъ*; оремъ, когда подаетъ слишкомъ громко; оремъ, когда подаетъ слишкомъ тихо; разъ десять переругаемся всѣ въ продолженіе одного акта; мы, вѣдь, старые любители, имѣемъ въ себѣ важности побольше казенныхъ премьеровъ, — а новичкамъ обидно. Однако, сколько ни ругаемся, а, въ концѣ-концовъ, миримся. И знаете-ли, съ чего начинается мировая? Съ ругни артистовъ, ей-Богу! Ежели, напримеръ, любитель играетъ Аркашку Счастливецва, — первое удовольствіе для него облаять Шумскаго, Садовскаго, Бурлака. Вѣдь, самъ, каналья, въ лучшемъ исходѣ только на то и способенъ, чтобы скопировать кое-какъ худшую внѣшнюю сторону того-же Бурлака или Кирѣва-покойника, а ругаетъ—да, вѣдь, какъ: земля и небо сотрясаются!!! Гмъ... Отношенія любителя къ артисту—прелюбопытная штука. Скажу вамъ хоть о себѣ.

Какъ всѣ любители, я былъ самонадѣянъ, очень самонадѣянъ. Скажу вамъ, этотъ порокъ развиваетъ въ насъ наша публика. Ежели артистъ настоящаго театра выйдетъ въ роли Гамлета, такъ у него поджилки трясутся, холодный потъ выступаетъ, потому что, чуть не такъ—аминь! Публика не пожалѣветъ. А насъ—какъ идутъ смотрѣть? „Ха-ха-ха! надо взглянуть, какъ это

Витька Похлебкинъ будетъ ваять „быть или не быть“.. Витька — Гамлетъ! ха-ха-ха!..“ Понятно, если еле-еле-сносно прочитаешь, сейчасъ-же изумленіе и хлопки. А хлопки—штука увлекательная. Сегодня хлопки, завтра хлопки, а послѣ завтра и вообразишь себя новымъ Сальвини. Сальвини то, конечно, не выйдетъ, а провинціальное „Шекспиръ несчастные“ именно такъ и нарождаются.

Такъ и было со мною. Я былъ увѣренъ въ себѣ, отрывался степнымъ волкомъ на всякое замѣчаніе, не ставилъ ни въ грошъ Шумскаго, смѣялся надъ Самаринымъ, отрицалъ Давыдова, утверждалъ, что со смертью Садовскаго русская сцена заглохла и втайнѣ думалъ: „эхъ! пустили-бы меня,—я бы показалъ, я бы обновилъ!“

Тьфу! совѣстно вспомнить!

Навѣщали Москву большіе артисты: Росси, Сальвини, Кокленъ. Вы полагаете — я образумился? Ничуть. Смотрю, бывало, и думаю: „да, талантъ крупный, больше моего, и сценическая опытность есть... да, вѣдь, все это легко приобрѣсти, если поналечь на дѣло.“

Мнѣ открылъ глаза Поссартъ. Увидалъ я его Мефистофелемъ. Мыслию про себя: „что говорить! умно! очень умно! только это не Сальвини... генія того нѣтъ!“ Пришелъ домой, по обыкновенію—къ зеркалу... что за штука? ни одна ситуація не дается—ни въ голосѣ, ни въ жестѣ. Повторилось это раза два... понялъ я тогда, что за штуки—обдумыванье цѣлой роли, концепція,—понялъ, что школа иной разъ важнѣе для артиста, чѣмъ геній.

Школа... учиться... а у кого, позвольте спросить, учиться, если у насъ нѣтъ ни одного артиста, умѣющаго распоряжаться голосомъ? Если наши лицедеи на вопросъ о школѣ смѣются и возражаютъ: „батюшка! да какое-же можетъ быть ученье при нашемъ бытовомъ репертуарѣ? Тутъ нутро“. „Нутро, — вотъ главная

штука! Поссартъ! эка выбрали образец! Кривляка! Декламаторъ! Заставиль-бы я его сыграть Андриюшу Брускова, — узналь-бы онъ у меня, гдѣ раки зимуютъ!..“ А зачѣмъ, спрашивается; ему Андриюшу играть, коли ему цѣлый Шекспиръ въ вѣдомство отведенъ? Шекспиръ! вы это слово постигаете ли, сударь мой? Шекспиръ! вѣдь это все равно, что слово „миръ“ сказать.

Слово „нутро“ слишкомъ часто повторялось вдругъ меня, чтобы я не увѣровалъ въ его чудотворную силу и не поклонился артистамъ, имѣвшимъ его въ запасѣ.

Начался періодъ ухаживанія за актерами: періодъ бесѣдъ съ jeune-premier'омъ, о назначенномъ ему шестнадцати-лѣтней дѣвченкой свиданіи; періодъ пьянства съ „благороднымъ отцомъ“, который говоритъ мнѣ коснѣющимъ языкомъ каждый день однѣ и тѣ же слова: „Витька!“ дуракъ! ты—геній... въ дирекцію не ходи. Профаны! не поймутъ... Тутъ у тебя сидить... того... сила... ухъ, какая сила! душа, братецъ, жизнь огонь!“ Поэтому, душа, заплати по счету и дай папирску.

Брр... скверное время!

Какъ я опомнился? Да вотъ какъ. Игралъ я Бѣлугина. Знаете вы монологъ: „не плачьте... что плакать?.. слезами не поможешь.“ Сказалъ я его и самъ почувствовалъ, что хорошо сказалъ, взволновался даже. Сижу потомъ въ уборной и соображаю: такъ вотъ оно какое „нутро“ это самое? Господи! Да чего-жъ я по актерамъ шляюсь, когда у меня уголь непочатый этого богатства?

И вотъ третій годъ, какъ играю самъ по себѣ. Выпьешь водчонки полбутылочки—и пойдешь, и пойдешь!

И ничего: я собой доволенъ... А публика... Да чортъ съ ней!

Только не хожу смотрѣть этихъ Поссартовъ. Варнаевъ, когда они пріѣзжаютъ въ Москву: что сердце растравлять!

д) Канъ умирають москвичи.

Семень Карповичъ Лучковъ, домовладѣлецъ, объѣлся на собственныхъ своихъ именинахъ заливнымъ поросенкомъ и заболѣлъ.

Заболѣвъ, онъ разсуждалъ такъ: „однако, меня что-то знобить... и въ животъ покалываетъ... Матрена Петровна! собери-ка мнѣ бѣлье чистое: ломаетъ меня простуда — надо въ баню съѣздить... ну, и бутылочку перцовки положи въ узелокъ — разотрусь въ вольномъ духѣ“.

Но—увы!—болѣзнь *банею не вышла*, а, напротивъ, на завтра уложила Семена Карповича пластомъ на одръ. Цѣлый день онъ стоналъ и охалъ, а вечеромъ сказалъ женѣ:

— Скъерно мнѣ, мать. Пошли за Иваномъ Филипповичемъ... Онъ, хоть и студентъ еще, а все на четвертомъ курсѣ, докторомъ скоро будетъ,—значить, смыслить... Да, кстати, и по репетиторской части его, каналью, пробрать надо: вонъ, — подлець Митька опять принесъ двойку въ балльникъ...

Студентъ пришелъ, выслушалъ сперва выговоръ за Митькину двойку, а потомъ освидѣтельствовалъ больного, важно нахмурился и сталъ сыпать латынью. Долго сыпалъ. Семень Карповичъ никакъ не воображалъ, что его болѣзнь такая длинная и ученая, а потому—блѣднѣеть, холоднѣеть, трисется и, наконецъ, не выдержавъ, раздражается трусливымъ воплемъ:

— Да будетъ вамъ, Иванъ Филипповичъ!.. Эка заладили: фебрисъ да фебрисъ... Словно я понимаю? Пугаете только! Вы скажите лучше по просту: очень что-

ли пакостно?.. Печенки, напимѣрь, эти самыя,—какъ? здорово погнили?

— Гм... не думаю, мычить медикъ, — ручаться, конечно, не могу... Вы примите хины... касторки тоже... авось пройдетъ.

— Охъ, голубчики! подло мнѣ!—стоветъ Семенъ Карповичъ по уходѣ студента, принявъ по необузданности природы и „для ради пользы“, ровно тройную противъ обыкновенной дозу хины и касторки,—охъ, подло! Разбередилъ онъ меня, каторжный, а лучше ни на грошъ не сдѣлалъ... Митя! сбѣгай, родной, къ заправскому доктору, что у насъ во дворѣ живетъ!.. Куда ни шло, рубль прожертвую... Сбѣгай!.. Онъ хоть больше по женской части, да, вѣдь, нуто-то—что у бабы, что у нашего брата,—одинаковое дадено.

Докторъ является, дѣлаетъ діагнозъ.

— Гм... селезенка у васъ что-то разбухла... Хину принимали? по скольку?

— А Богъ ее знаетъ! на руку больше вѣсилъ...

— Такъ это отъ хины. Какъ же мнѣ теперь быть съ вами: отъ хины у васъ селезенка дуется, а хину вамъ вѣсть все-таки надо... Вотъ что: вы принимали до сихъ поръ *chininum sulphuricum*, а я пропишу вамъ *chininum muriaticum*. А болѣзнь — пустяки; все пройдетъ.

На другой день Лучкову приходится такъ плохо, что онъ рѣшается раскошелиться на три рубля и позвать доктора „по-важнѣе“. Этотъ трехрублевый эскулапъ—еще очень молодой, но невѣроятно важный господинъ; говорить проворно и съ апломбомъ.

— Позвольте вашъ языкъ?.. Такъ-съ... нехорошъ... можете закрыть ротъ... Посмотримъ, каковъ пульсъ?.. Прошу быть спокойнѣе... Ненормаленъ... У васъ... впрочемъ, я пока воздержусь отъ заключеній: тифъ не

тишь, воспаление не воспаление... Во всякомъ случаѣ—положеніе серьезное. Завтра я заѣду. Совѣтую вамъ также пригласить профессора Колпакова; я у него ассистентомъ. Заплатите ему десять рублей. А пока — хина и діета строжайшая.

— Проваль бы тебя взялъ! думаетъ Семень Карповичъ,—пульсъ ненормалень, языкъ нехорошъ! Словно я безъ него этого не зналъ! Тьфу! И болѣзни не опредѣлилъ... Положеніе серьезное! Помрешь еще, пожалуй. Хоть бы знать, отчего помру,—все пріятнѣе... Митя! наболтай-ка мнѣ хинки въ рюмочку!

Профессоръ Колпаковъ тщедушень, уныль, кисель, говорить какъ-бы черезъ силу. Щупая пульсъ, еле прикасается къ рукѣ пациента и впадаетъ почти въ гипнотическое состояніе, подолгу щуря мутно-сѣрые глаза на циферблатъ чудеснаго хронометра. Онъ не только посмотрѣлъ у Лучкова языкъ, но даже потыкалъ въ него для чего-то указательнымъ пальцемъ, холоднымъ и костлявымъ.

— Больно?—мямлитъ Колпаковъ, кивая на животъ Семена Карповича.

— Ась?—оретъ послѣдній

— Я го-во-рю: больно?

— Ась?!?!

— Господинъ профессоръ спрашиваетъ, болитъ-ли у васъ животъ?—кричитъ во все горло ассистентъ. Но Лучковъ упорно не слышитъ и повторяетъ свое „ась“. Профессоръ въ нѣкоторомъ изумленіи уставляетъ очеса на ассистента и мычить.

— Э-э-э... глухота...

— Точно такъ-съ... непостижимо!.. вчера слышалъ...

Отчего-бы?

— Э-э-э... бываетъ...

— Это отъ хины!—вмѣшивается въ разговоръ Мат-

рена Петровна, жена Лучкова, и конфузится. Профессоръ дѣлаетъ гримасу презрѣнія и, не отвѣчая, принимается изо-всей мочи давить больному пониже ложечки.

— Больно? больно?

Семень Карповичъ визжитъ благимъ матомъ; на глазахъ у него слезы. На лицѣ Колпакова блуждаетъ счастливая улыбка восхищенія самимъ собой, переводимая на обыденный языкъ приблизительно такими словами: „ага! запѣлъ, голубчикъ! То-то! Я зналъ, что ты кричать будешь!“ Ассистентъ сіяетъ и благоговѣть. Больной думаетъ: „скоты вы, однако, порядочные, какъ посмотрю я на васъ!“

— Пиротонить!—рѣшаетъ Колпаковъ послѣ долгаго изслѣдованія.

— Пиротонить-сь! какъ эхо, шелеститъ за нимъ ассистентъ.

— Это что-же... опасно? — слѣдуетъ робкій вопросъ Матрены Петровны.

— А вотъ-сь, полѣчимъ и увидимъ!—вылетаетъ бойкій отвѣтъ изъ устъ ассистента.

— Да... вотъ, именно... полѣчимъ и увидимъ!—мямлитъ профессоръ. Въ передней Колпаковъ очень долго одѣвается и, прежде чѣмъ спрятать въ карманъ полученную десятирублевку, задумчиво муслить ея уголокъ между большимъ и указательнымъ пальцемъ, повидимому, размышляя: „а вдругъ фальшивая!“

Семень Карповичъ остался доволенъ Колпаковымъ: во-первыхъ—„сейчасъ видно, что своего дѣла мастеръ... съ большой задумчивостью человекъ“, во-вторыхъ—ученый мужъ прописалъ ему кромѣ хины еще рублей на пять разной аптечной дряни, а главное—хоть какъ нибудь окрестилъ болѣзнь. „Пиротонить“—ишь ты слово-то какое звучное,—даромъ что непонятное, на манеръ какъ-бы „металлъ“ и „жупель“...

Колпаковъ съ ассистентомъ ѣздятъ день, другой, третій, — Семену Карповичу не лучше. Игривость ассистента мало-по-малу превращается въ суровость: „дескать, чего-жь ты, такой-сякой, не выздоравливаешь, коли мы тебя лѣчимъ по всѣмъ правиламъ искусства?“ Колпаковъ скисаетъ окончательно и каждый разъ, прощаясь съ больнымъ, глядитъ на него пристально и замысловато, какъ будто хочетъ сказать: „ишь ты! никакъ я тебя, братъ... того... залѣчилъ?“

Страхъ смерти охватываетъ душу Семена Карповича.

— Что-жь это, Господи! — молится онъ, — ужли помру? Этакую прорву денегъ извелъ на докторовъ, а — хоть бы что... Какъ-же такъ?.. У меня вонъ жена, дѣти... на ноги ихъ ставить надо...

Тѣмъ временемъ Матрена Петровна звонить у подъѣзда мѣстной архи-знаменитости доктора Доброзракова. Ей приходится заплатить три рубля швейцару великаго человѣка за немедленный докладъ. Доброзраковъ обѣщаетъ навѣстить больного въ тотъ-же вечеръ, но прѣзжаетъ только на третій день, когда больной еле дышетъ, а родные истомились ожиданіемъ.

Доброзраковъ говорить бойко, то и дѣло прерывая рѣчь раскатистымъ густымъ смѣхомъ. Выглядитъ виверомъ и умницей большой руки.

Весь домъ встрѣчаетъ чудотворца-медика на крыльцѣ.

— Ну, показывайте вашего хворенькаго... — грохочетъ онъ. — Воздухъ дрянъ: ватеръ-клизетомъ несеть... Охъ, вы! публика! бить васъ некому! Дезинфекція при больныхъ — первое дѣло... Здравствуйте, баринъ! Что? хворать вздумали? Бросьте это плевое занятіе! Покажитесь-ка... Да, рожа у васъ самая несуразная... Дама! вы бы вышли на время: надо мнѣ у вашего супруга корпуненцію осмотрѣть. Вы то на нее, небось, насмот-

рѣлись... который годокъ замужемъ-то?.. А миѣ впервой... Антиресно-сь.

Шутки и двусмысленности такъ и сыплются съ языка Доброзракова, но—странно! никто ими не обижается; блаженные улыбки расплываются по лицамъ домочадцевъ:—„слава Богу! должно, не опасень Семень Карповичъ: вона, какой докторъ веселый! Спасибо ему! Свалилъ камень съ сердца“!

— Тэкъ-сь,—кончаетъ свой осмотръ Доброзраковъ,—кто лѣчилъ-то васъ?!

— Колпаковъ съ ассистентомъ своимъ. Кистычкинымъ.

— Свиныя онъ съ поросенкомъ своимъ—хавроньей! Охота была звать! Ну, воспаление у васъ въ брюшинѣ—разъ, здорово запущено—два, есть осложненія—три, лѣчили васъ сапожнически—четыре... Вотъ онъ, домъ о четырехъ углахъ! Ха-ха-ха! Вы не трусьте—молодцомъ держитесь! Ха-ха! Чего робѣтъ-то? Лѣчить васъ примемся—бѣ-да!!! Ха-ха-ха!

Заразительный хохотъ доктора неудержимо вліяетъ на всѣхъ окружающихъ. Смѣется больной, смѣются родные, смѣется прислуга въ передней...

— Хину бросьте въ помойную яму... Ха-ха... Прочее—туда-же! Коли жаръ усилится,—прикажете растирать себя водой съ ускусомъ; коли животъ очень заболитъ,—хватите опиуму... Вотъ и все. Что? мало? Ха-ха! будетъ вамъ платить подати аптекаришкамъ—жидоморамъ! Діеты никакой—ѣшьте, что въ ротъ лѣзеть... Досвиданья! выздоравливайте!

Но едва дверь спальни Лучкова затворилась за Доброзраковымъ, онъ съ злымъ лицомъ обращается къ Матренѣ Петровнѣ и стѣпившимся въ ожиданіи рокового приговора домочадцамъ:

— Эхъ вы, блажные челоувѣки! Проворонили стари-

ка-то... Не могли раньше спохватиться — позвать меня? Нарродъ!

— Неужели такъ - таки и помреть? — всхлипываютъ кругомъ, — довторъ, да вы бы ему лѣкарствица...

— Я не коноваль, чтобъ больного лѣкарствами пичкать, когда онъ завтра будетъ лежать на столѣ. Пусть хоть помреть-то самъ собою, въ полное свое удовольствіе... Ха-ха! — радуется Доброзраковъ измышленію своего остроумія, — все давайте, чего ему захочется... Что онъ любилъ у васъ особенно?

— Охъ, буженину, отецъ, буженину! — плачетъ изъ-за спины хозяйки ея старая нянька — морщинистая развалага съ кислымъ взглядомъ.

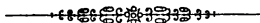
— Ну, вотъ буженины и изготовьте ему! — заключаетъ Доброзраковъ, кладетъ въ карманъ двѣ двадцатипятирублевки и уѣзжаетъ.

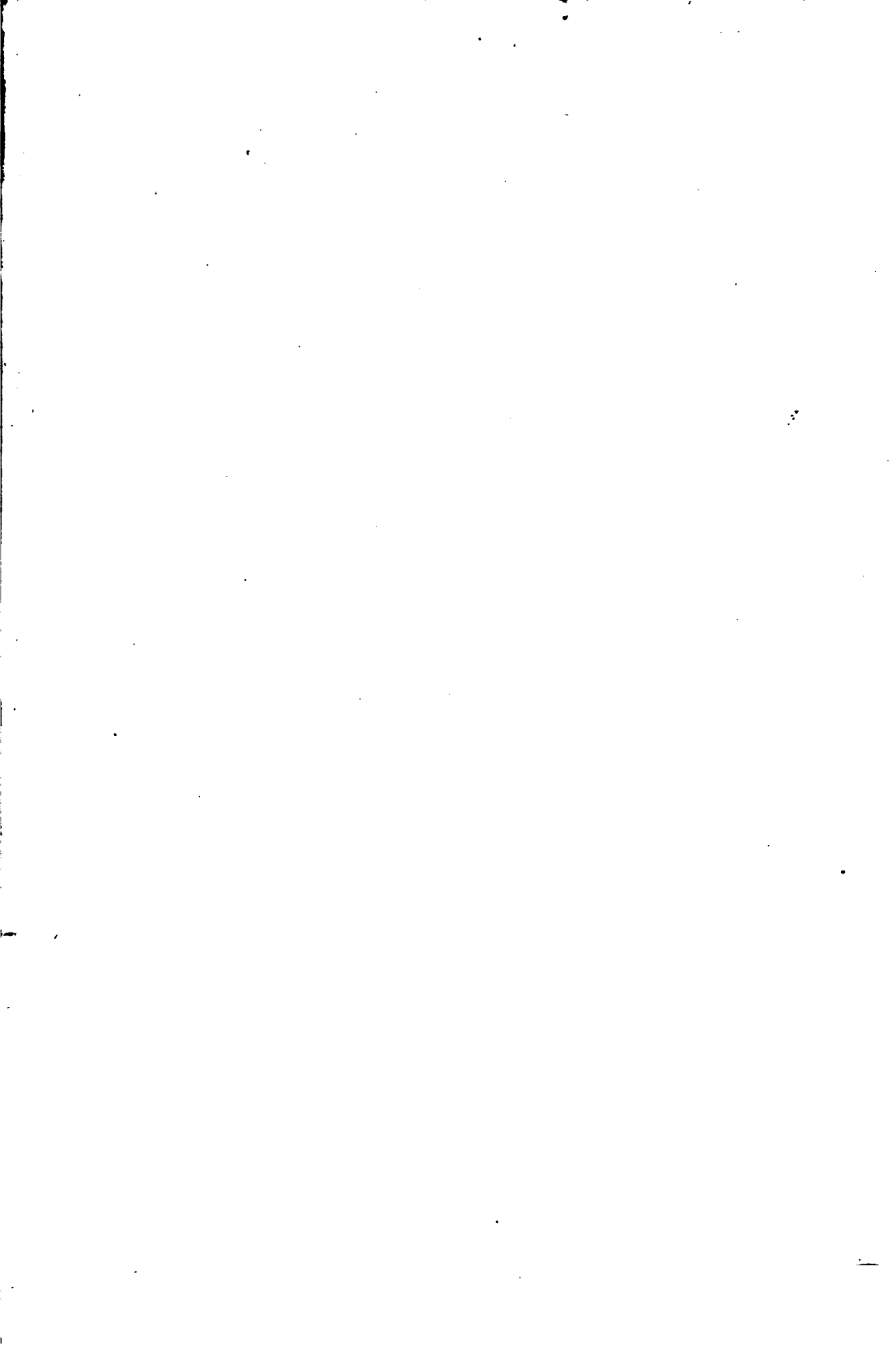
Къ вечеру того-же дня Семень Карповичъ дѣйствительно померъ.

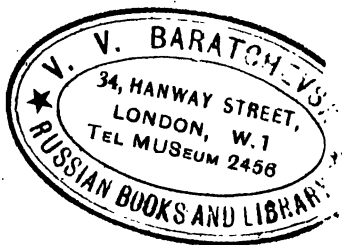
Послѣдними словами его было:

— Матреша... ты бы съвздила, пригласила-бы еще этого... какъ бишь его... Захарь...

Да такъ и не договорилъ бѣдняга!









3 2044 050 501 634

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.
A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.
Please return promptly.

